

Дневник писателя

Автор:

Федор Достоевский

Дневник писателя

Федор Михайлович Достоевский

Как писателя и публициста Ф.М.Достоевского интересовало практически все происходящее в современном ему мире, все находило отклик в его творчестве. «Дневник писателя», помимо обсуждений самых различных тем, от глубоких философских и нравственных вопросов до анализа внешней политики держав, включает прямое обращение к читателю, как к непосредственному соучастнику событий своего времени. Для нашего же времени актуальность «Дневника писателя» заключается в проницательности Ф.М.Достоевского, вскрывающей неизменную суть явлений.

Федор Достоевский

Дневник писателя

«Отчет о виденном, слышанном и прочитанном»

Литературная деятельность Достоевского была сопряжена с «тоской по текущему», другими словами, с глубоким интересом к современным событиям, характерным явлениям, выразительным деталям окружавшей его действительности. Наблюдая за всеми оттенками развития «живой жизни», он с неослабным вниманием следил за отражением ее проявлений в русской и иностранной периодике. По признанию очевидцев, писатель ежедневно просматривал газеты и журналы «до последней литеры», стремясь уловить в

богатом многообразии значительных и мелких фактов их внутреннее единство, социально-психологические основания, духовно-нравственную суть, философско-исторический смысл.

Такая потребность диктовалась не только своеобразием романистики Достоевского, в которой органично сплелись вечные темы и злободневные проблемы, мировые вопросы и узнаваемые детали быта, высокая художественность и острая публицистичность. Писатель всегда испытывал страстное желание говорить напрямую с читателем, непосредственно влиять на ход социального развития, вносить незамедлительный вклад в улучшение отношений между людьми. Еще в издаваемых им совместно с братом в 1860-х годах журналах «Время» и «Эпоха» печатались его отдельные художественно-публицистические очерки и фельетоны.

Однако Достоевский намеревался выпускать сначала единоличный журнал «Записная книга», а затем – «нечто вроде газеты». Эти замыслы частично осуществились в 1873 году, когда в редактируемом им в это время журнале князя В. П. Мещерского «Гражданин» стали печататься первые главы «Дневника писателя». Но заданные рамки еженедельника и зависимость от издателя в какой-то степени ограничивали как тематическую направленность статей Достоевского, так и их идейное содержание. И вполне естественно, что он стремился к большей свободе в освещении «бездны тем», волновавших его, к раскованной беседе с читателями прямо от своего лица, не прибегая к услугам редакционных и издательских посредников.

С 1876 по 1881 год (с двухлетним перерывом, занятым работой над «Братьями Карамазовыми») Достоевский выпускал «Дневник писателя» уже как самостоятельное издание, выходившее, как правило, раз в месяц отдельными номерами, объемом от полутора до двух листов (по шестнадцать страниц в листе) каждый. В предуведомляющем объявлении, появившемся в петербургских газетах, он разъяснял: «Это будет дневник в буквальном смысле слова, отчет о действительно выжитых в каждый месяц впечатлениях, отчет о виденном, слышанном и прочитанном».

И в самом деле, на его страницах автор заводит пристрастный разговор, перемежающийся с личными воспоминаниями, о разных вещах и внешне вроде бы совсем не соприкасающихся сферах – о внешней и внутренней политике, аграрных отношениях и земельной собственности, развитии промышленности и торговли, научных открытиях и военных действиях. Внимание писателя

привлекают железнодорожные катастрофы, судебные процессы, увлечение интеллигенции спиритизмом, распространение самоубийств среди молодежи. Его беспокоит распад семейных связей, разрыв между различными сословиями, торжество «золотого мешка», эпидемия пьянства, искажение русского языка и многие другие болезненные вопросы. Перед читателем открывается широчайшая историческая панорама пореформенной России: именитые сановники и неукорененные мещане, разорившиеся помещики и преуспевающие юристы, консерваторы и либералы, бывшие петрашевцы и народившиеся анархисты, смиренные крестьяне и самодовольные буржуа. Читатель знакомится и с необычными суждениями автора о личности и творчестве Пушкина, Некрасова, Толстого...

Однако «Дневник писателя» – не многокрасочная фотография и не калейдоскоп постоянно сменяющих друг друга пестрых фактов и непересекающихся тем. В нем есть свои закономерности, имеющие первостепенное значение. Взять, к примеру, «детскую тему», дающую к тому же наглядное представление о стиле и методах публицистической работы автора. Присутствуя на рождественской елке в клубе художников, Достоевский внимательно всматривается в лица и манеры, изучает психологию мальчиков и девочек разного возраста. Но его наиконкретнейшие наблюдения тотчас же вырастают до пронизательных размышлений об облегченной педагогике, «обжорливой младости», «праве на бесчестье». Одновременно он не может не сравнивать поведение так называемых благополучных подростков с судьбами их обездоленных сверстников, живущих среди пьянства и разврата, гибнущих от голода и лишений. Писатель посещает воспитательный дом, колонию малолетних преступников, просиживает целыми днями на судебных заседаниях, где защищают интересы детей. Его страстные, психологически и нравственно обоснованные выступления в защиту их интересов не только помогают иной раз вынести более справедливый приговор, как в случае с молодой беременной женщиной, в состоянии аффекта столкнувшейся с четвертого этажа шестилетнюю падчерицу, но и подвигают к раздумьям о взаимоотношениях «отцов» и «детей», об ответственности общества за воспитание подрастающего поколения, от которого зависит будущее России.

Это характерное для каждой страницы «Дневника» столкновение личного и социального, конкретного и общего можно пронаблюдать – по тематическому контрасту – и в совсем иной области авторских рассуждений, рассуждений о внешней политике: о неприемлемости усиления милитаризма бисмарковской Германии, о коварстве правительственных действий Англии и Австрии и, в первую очередь, о необходимости деятельной помощи России угнетенным

славянам. В 1875–1876 годах Герцеговина и Босния, а затем Болгария и Сербия восстали против турецкого ига. Государственные власти, испытывая давление европейской дипломатии, поначалу не решались выступить открыто на стороне восставших. В обществе же разрасталось добровольческое движение, в котором приняли участие представители всех сословий. Большую роль в этом движении играл славянский благотворительный комитет, организованный для помощи братским народам. Его членом был и Достоевский, неустанно призывавший со страниц «Дневника» к активной поддержке национально-освободительной борьбы славян и последовательно освещавший ее развитие. С точностью военных сводок он сообщает о ходе боевых операций, со знанием дела обсуждает замыслы европейских правительств или насущные проблемы тактики и вооружения, с глубокой болью рассказывает о мучительных страданиях болгар, особенно женщин и детей, с сердечной гордостью повествует о героизме и благородстве добровольцев, о жертвованиях русского народа в пользу угнетенных славян. Вместе с тем готовность к бескорыстной помощи, объединявшей людей поверх социальных барьеров и сословных границ и укреплявшей их души сознанием самопожертвования, наводила Достоевского на размышления о том, что Россия в будущем сможет сказать миру «великое слово», способное служить «заветом общечеловеческого единения, и уже не в духе личного эгоизма, которым люди и нации искусственно и неестественно едятся теперь в своей цивилизации, из борьбы за существование, положительной наукой определяя свободному духу нравственные границы, в то же время роя друг другу ямы, произнося друг на друга ложь, хулу и клевету». Осмысляя конкретные факты участия России в освободительной войне на Балканах, писатель приходит ко все более обобщающим выводам: «Если нации не будут жить высшими, бескорыстными идеями и высшими целями служения человечеству, то погибнут эти нации несомненно, окоченеют, обессилеют и умрут».

И о чем бы ни заводил речь автор «Дневника» – будь то общество покровительства животным или литературные типы, замученный солдат или добрая няня, кукольное поведение дипломатов или игривые манеры адвокатов, кровавая реальность террористических действий или утопические мечтания о «золотом веке», – его мысль всегда обогащает текущие факты глубинными ассоциациями и аналогиями, включает их в главные направления развития культуры и цивилизации, истории и идеологии, общественных противоречий и идейных разногласий. Причем при освещении столь разнородных тем на предельно конкретном и одновременно общечеловеческом уровне Достоевский органично соединял различные стили и жанры, строгую логику и художественные образы, «наивную обнаженность иной мысли» и конкретные

диалогические построения, что позволяло передать всю сложность и неоднородность рассматриваемой проблематики. В самой же этой проблематике он стремился определить ее этическую сущность, а также «отыскать и указать, по возможности, нашу национальную и народную точку зрения». По мнению Достоевского, всякое явление современной действительности должно рассматриваться сквозь призму опыта прошлого, не переставшего оказывать свое воздействие на настоящее через те или иные традиции. И чем значительнее национальное, историческое и общечеловеческое понимание злободневных текущих задач, тем убедительнее их сегодняшнее решение.

Такая работа, кажущаяся непосильной в наше время и целой редакции, полностью захватывала Достоевского и требовала от него огромного напряжения физических и духовных сил. Ведь ему одному необходимо было собирать материал, тщательно готовить его, составлять, уточнять, успеть издать его в срок, уложившись в заданный объем. Чрезвычайная добросовестность заставляла Достоевского по несколько раз переписывать черновики, самого рассчитывать количество печатных строк и страниц. Боясь за судьбу рукописей, он сдавал их в типографию лично или передавал через жену, незаменимую помощницу, которая активно участвовала в подготовке «Дневника писателя» и в его распространении. После каждого выпуска Достоевский, по свидетельству очевидца, «несколько дней отдыхал душою и телом... наслаждаясь успехом...».

А успех действительно был огромным. Интерес читающей публики к столь оригинальному изданию с каждым выпуском все возрастал. Тираж «Дневника», расхोdivшегося по подписке и в розничной продаже, постепенно увеличился до шести тысяч экземпляров. К голосу автора «Преступления и наказания», «Идиота», «Бесов», авторитетного писателя, находившегося в расцвете своей духовной мощи и таланта, прислушивались представители разных слоев мыслящего русского общества. Его выступления, будившие в согражданах чувства совести, чести и справедливости, воспринимались как учительное и пророческое слово.

В адрес Достоевского стала поступать читательская почта. «К концу первого года издания „Дневника“, – вспоминает метранпаж М. А. Александров, – между Федором Михайловичем и его читателями возникло, а во втором году достигло больших размеров общение, беспримерное у нас на Руси: его засыпали письмами и визитами с изъявлениями благодарности за доставление прекрасной моральной пищи в виде „Дневника писателя“. Некоторые говорили, что они

читают его „Дневник“ с благоговением, как Священное Писание; на него смотрели одни как на духовного наставника, другие как на оракула и просили его разрешить их сомнения насчет некоторых жгучих вопросов времени».

Многие корреспонденты видели в авторе не только талантливое писателя, но и мудрого человека с чутким и отзывчивым сердцем, способного дать единственно правильный совет, уберечь от непоправимых поступков, обогреть душу. «Я скажу прямо, – писала ему революционерка-народница А. П. Корба, – что я жду от Вас помощи, не имея на то права, разве только право страждущего от боли; а у меня в течение долгих лет наболела душа, и если теперь я решаюсь беспокоить Вас стонами, то потому, что знаю, что лучшего врача не найду». Другая читательница, благодарная заступничеству писателя за незаслуженно обиженных детей, признавалась: «Если бы можно было сейчас, сию минуту очутиться возле Вас, с какой радостью я обняла бы Вас, Федор Михайлович, за Ваш февральский „Дневник“. Я так славно поплакала над ним и, кончив, пришла в такое праздничное настроение, что спасибо Вам. Мать». А вот еще одно трогательное признание, сделанное подростком: «Для чего я Вам пишу, не знаю, меня тянет как-то безотчетно Вам написать, и бывает всякий раз, как прочитаю Ваш „Дневник“, – я чувствую Вас как бы родным, но высказать свои мысли – не умею».

Подобные отклики доставляли Достоевскому глубокое моральное удовлетворение, поддерживали силы в многотрудной работе. Впрочем, отклики были самые разные и содержали, например, просьбы об устройстве на службу, оказании материальной помощи, оценке рукописи начинающего писателя. Очень часто читатели обращали внимание автора на те или иные факты и вступали с ним в серьезный разговор, влиявший на подвижность литературной формы и стиля «Дневника». Достоевский нередко цитирует получаемые письма, анализирует их, соглашается или спорит с высказываемыми мнениями. Оценивая нравственное и творческое значение непосредственного общения с читателями, он замечал: «Писателю всегда милее и важнее услышать доброе и ободряющее слово прямо от сочувствующего ему читателя, чем прочесть какие себе угодно похвалы в печати. Право, не знаю, чем это объяснить: тут, прямо от читателя, – как бы более правды, как бы более в самом деле».

Что же касается профессиональных отзывов в печати, опосредованных идейными пристрастиями, то и в них, несмотря на имевшиеся разногласия, отдавалась дань гражданской самоотверженности, благородству намерений и проникновенности суждений автора «Дневника». Либеральные, консервативные,

народно-демократические органы отмечали «высокую гуманность», «горячую веру в необъятную мощь народа» и «неподдельное сочувствие к его страданиям», «оригинальные, глубокие и светлые мысли» Достоевского. Правда, нередко раздавались голоса, что он, напротив, не знает народа, не понимает молодежи, не уважает дворянства и возводит «абсурдные обвинения» на русское общество. Независимость позиции озадачивала журналистов различных направлений, противоречиво менявших свое отношение к изданию. Внимательно изучая сочувственные и полемические отзывы, Достоевский в следующих выпусках уточнял ту или иную точку зрения, разъяснял свои выстраданные убеждения и таким образом становился едва ли не самым заметным участником идейной жизни России второй половины 70-х годов XIX века.

Однако в конце 1877 года Достоевский был вынужден приостановить печатание «Дневника писателя», чтобы целиком посвятить себя работе над романом «Братья Карамазовы». Намереваясь возобновить публицистическую деятельность с начала 1881 года, Достоевский тем не менее уже в 1880 году издал один выпуск со своей знаменитой пушкинской речью. Она была произнесена по случаю торжественного открытия памятника Пушкину в Москве. Произведения Пушкина были для автора «Братьев Карамазовых» предметом постоянных творческих раздумий. В героях этих произведений Достоевский видел не просто персонажей определенного исторического времени, а «колоссальные лица», воплотившие основные коллизии русской действительности XIX века. Особую заслугу поэта Достоевский находил и в том, что Пушкин сумел увидеть «смирненную красоту» русского человека, понять всю ценность народных идеалов и святынь. Достоевский обнаруживает в творчестве Пушкина проявление «всемирной отзывчивости», залог возможного единения интеллигенции и народа, России и Европы, всего человечества.

Огромнейший успех речи на пушкинских торжествах и возникшая вокруг нее полемика свидетельствовали о все более возрастающей и духовно обеспеченной популярности Достоевского, убеждали его в насущной необходимости продолжать, как и задумывалось, издание любимого детища. Но удалось подготовить лишь январский выпуск «Дневника». Уже умирающий писатель все еще волновался за его судьбу и вносил последние поправки в корректурные листы. Анна Григорьевна Достоевская вспоминала: «Среди дня стал беспокоиться насчет „Дневника“... пришел метранпаж из типографии Суворина и принес последнюю сводку. Оказалось лишних семь строк, которые надо было выбросить, чтобы весь материал уместился на двух печатных листах. Федор Михайлович затревожился, но я предложила сократить несколько строк на предыдущих страницах, на что муж согласился. Хотя я задержала метранпажа

на полчаса, но после двух поправок, прочтенных мною Федору Михайловичу, дело уладилось. Узнав чрез метранпажа, что номер был послан в гранках Н. С. Абазе (цензору. – Б. Т.) и им пропущен, Федор Михайлович значительно успокоился».

Читая «Дневник писателя» сегодня, не перестаешь удивляться, может быть, самому главному в нем – что и через сто лет многие авторские выводы не только жгуче актуальны, но и жизненно необходимы при совестливой, глубокой и по-настоящему реалистической проверке нравственного содержания тех или иных задач и соответствия выбираемых для их осуществления средств. И вряд ли стоит сомневаться, что они еще долго останутся актуальными, хотя действительность сильно меняется и неузнаваемо изменится в будущем.

Думается, тайна неумирающего значения необычной и непривычной для нас публицистики заключается не столько в ее точности и остроте, сколько в мудром проникновении в самую сердцевину рассматриваемых проблем, а также в единстве, которое обнаруживается в предельно разнообразном содержании. Поэтому, очерчивая тематический круг публицистики Достоевского с ее болью и тревогой, чрезвычайно важно выделить в ней руководящие идеи, раскрывающие внутреннюю логику порою невидимой связи несходных фактов, событий, явлений, обнажающие общие корни тех или иных «больных» вопросов жизни и подсказывающие пути их решения.

Публицистика Достоевского дает редкий и выразительный, но, к сожалению, недостаточно усвоенный урок многостороннего и предугадывающего понимания современной ему действительности. Пожалуй, более чем кто-либо из русских писателей он пристально всматривался в эту действительность, когда в пореформенной России совместились «жизнь разлагающаяся» и «жизнь вновь складывающаяся», когда «все вверх дном на тысячу лет». В одной из статей Достоевский так характеризовал создавшееся положение: «Прежний мир, прежний порядок – очень худой, но все же порядок – отошел безвозвратно. И странное дело: мрачные нравственные стороны прежнего порядка – эгоизм, цинизм, рабство, разъединение, продажничество – не только не отошли с уничтожением крепостного быта, но как бы усилились, развились и умножились; тогда как из хороших нравственных сторон прежнего быта, которые все же были, почти ничего не осталось...»

Новые условия оказались благоприятными для развития буржуазного индивидуалистического сознания, вытеснявшего традиционные духовно-нравственные ценности и способствовавшего разрастанию самозабвенного практицизма деловых людей с их полуосознанным внутренним девизом «после меня хоть потоп»: «...материализм, слепая, плотоядная жажда личного материального обеспечения, жажда личного накопления денег всеми средствами – вот все, что признано за высшую цель, за разумное, за свободу...»

При столь своеобразном понимании разумности, свободы и высшей цели естественно распадается семья, учащаются самоубийства, процветает пьянство. «...Матери пьют, дети пьют, церкви пустеют, отцы разбойничают... Спросите лишь одну медицину: какое может родиться поколение от таких пьяниц?»

Среди признаков неустойчивого переходного времени Достоевский с горечью наблюдал и отчужденность высших слоев общества и интеллигенции от народа, шаткость вековых убеждений и прекраснодушный гуманизм, идейный крах «старых» и теоретическую узость «новых» людей. Даже в нарождающейся архитектуре с ее огромными и высокими, но обезличенными и обездушенными зданиями обнаруживается «какая-то безалаберщина, совершенно, впрочем, соответствующая безалаберщине настоящей минуты».

Достоевского чрезвычайно озадачивало, что в эпоху «безалаберщины» и «великих обособлении» возникает «куча вопросов, страшная масса все новых, никогда не бывавших, до сих пор в народе неслыханных». Однако сложность «теперешнего момента» усугублялась в его представлении тем, что «каждый ответ родит еще по три новых вопроса, и пойдет это все crescendo. В результате хаос, но хаос бы еще хорошо: скороспелые решения задач хуже хаоса». Хуже потому, что не вылечивают социальные болезни, а лишь загоняют их вглубь. Не лучше и прямолинейные решения, страдающие воинствующей односторонностью. Как среди «старичков» и консерваторов, так среди «молодых» и либералов, замечает писатель, «народились мрачные тупицы, лбы нахмурились и заострились, – и все прямо и прямо, все в прямой линии и в одну точку».

Будучи принципиальным противником скороспелых и прямолинейных решений, Достоевский тщательно изучал текущие явления в эту «самую смутную, самую неудобную, самую переходную и самую роковую минуту, может быть, из всей истории русского народа» в свете великих идей, мировых вопросов, всего исторического опыта, запечатлевшего основные свойства человеческой

природы. Характеризуя собственную публицистическую методологию, он говорил о необходимости давать «отчет о событии: не столько как о новости, сколько о том, что из него (события) останется нам более постоянного, более связанного с общей, с цельной идеей». По его мнению, нельзя «уединять случай» и лишать его «права быть рассмотренным в связи с общим целым». В любой социально значимой деятельности «надо кореннее браться за дело», то есть исследовать генеалогию происходящего в сокровенных глубинах человеческой души. Проницательный ум писателя и был направлен в корни природы человека, скрыто питающие плоды его истории, в нервные узлы, а не периферийные окончания общественных процессов, жизненных зависимостей, интимно-личностных отношений. Это сущностное зрение, в высшей степени свойственное не только его художественным, но и публицистическим произведениям, позволяло лучше понимать, что можно ждать от человека, на что надеяться и чего опасаться в нем.

Достоевский отчетливо видел, как в процессе многовекового движения истории изменялся внешний облик человечества благодаря улучшению материальных условий его существования, что было обусловлено взаимосвязью интеллектуальных свершений и успехов в производстве, науке и технике. Однако в духовно-психологическом ядре человека оставались неискоренимыми властолюбие, зависть, тщеславие и другие эгоистические начала, вносящие дисгармонию в любые социальные отношения.

Достоевский страстно мечтал о такой целостности, когда люди, преодолев корыстолюбивые слабости своей натуры, могли бы искренне и простодушно обняться. «Выше этой мысли обняться ничего нет», – отмечено им в записных книжках. Без этой высшей цели автор «Дневника писателя» считал человеческое существование недостойным и бессмысленным, но вместе с тем он прекрасно сознавал неимоверные препятствия на пути к ней: «Я всего только хотел бы, чтоб все мы стали немного получше. Желание самое скромное, но, увы, и самое идеальное».

Стать немного получше – оказывается такой задачей, которая по идеальности и сложности неизмеримо превышает трудности покорения природы и ее приспособления для увеличения материального комфорта. Более того, выдвижение на первый план физического благополучия – что, по убеждению прямолинейно мыслящих теоретиков, должно создать основания для возвышения и облагораживания жизни – является, по мнению Достоевского, одной из капитальнейших причин многочисленных «недоумений» современной

цивилизации и неоднозначно отражается на духовном состоянии человека. Предвидя грядущие гигантские результаты науки в деле преобразования природы, «приручения» вещей, Достоевский спрашивал в «Дневнике писателя»: «Что бы тогда случилось с людьми? О, конечно, сперва все бы пришли в восторг. Люди обнимали бы друг друга в упоении, они бросились бы изучать открытия (а это взяло бы время); они вдруг почувствовали бы, так сказать, себя осыпанными счастьем, зарытыми в материальных благах; они, может быть, ходили бы или летали по воздуху, пролетали бы чрезвычайные пространства в десять раз скорей, чем теперь по железной дороге; извлекали бы из земли баснословные урожаи, может быть, создали бы химией организмы, и говядины хватило бы по три фунта на человека... – словом, ешь, пей и наслаждайся. „Вот, – закричали бы все филантропы, – теперь, когда человек обеспечен, вот теперь только он проявит себя! Нет уже более материальных лишений, нет более заедающей «среды», бывшей причиною всех пороков, и теперь человек станет прекрасным и праведным! Нет уже более непрерывного труда, чтобы как-нибудь прокормиться, и теперь все займется высшим, глубокими мыслями, всеобщими явлениями. Теперь, теперь только настала высшая жизнь!..

Но вряд ли и на одно поколение людей хватило бы этих восторгов! Люди вдруг увидели бы, что жизни уже более нет у них, нет свободы духа, нет воли и личности, что кто-то у них все украл разом; что исчез человеческий лик и настал скотский образ раба, образ скотины, с тою разницею, что скотина не знает, что она скотина, а человек узнал бы, что он стал скотиной. И загнило бы человечество; люди покрылись бы язвами и стали кусать языки свои в муках, увидя, что жизнь у них взята за хлеб, за «камни, обращенные в хлебы». Поняли бы люди, что нет счастья в бездействии, что погаснет мысль не трудящаяся, что нельзя любить своего ближнего, не жертвуя ему от труда своего, что гнусно жить на даровщинку и что счастье не в счастье, а лишь в его достижении».

Эти мысли заставляют вспомнить многочисленные выступления последнего времени в периодике по вопросам вещизма и потребительства, дискуссии о подлинном и мнимом жизненном успехе и т. п. Рассуждение Достоевского более чем столетней давности по своей сути и глубине намного опережает размышления некоторых авторов подобных выступлений и участников подобных дискуссий. В этих размышлениях решение встающих проблем сводится иной раз к ускоренному и более справедливому, если так можно выразиться, насыщению материальных потребностей людей, в чем видится порою весьма расплывчатый и никак не определяемый критерий улучшения человеческих отношений.

По многоходовой же логике Достоевского, осыпанность счастьем и зарытость в материальных благах не только не освобождают сознание человека от повседневных забот для духовного совершенствования, не только не делают его прекрасным и праведным, но, напротив, гасят в нем высшую жизнь и устремленность ко всеобщим явлениям, превращают лик человеческий в «скотский образ раба».

Достоевский считал, что полное и скорое утоление потребностей понижает духовную высоту человека, незаметно приковывает его еще сильнее к узкой сфере самоценного умножения чисто внешних форм жизни, обостряющих многосторонность насладительных ощущений и связанных с ними «бессмысленных и глупых желаний, привычек и нелепейших выдумок». Все это, в свою очередь, способствует в виде обратного эффекта развитию «имущественной похоти», нескончаемому наращиванию самих сугубо материальных потребностей, беспрестанно насыщаемых обновляемыми вещами, что делает человека пленником собственных ощущений. По мнению писателя, люди, находясь в плену такого цикла, невольно соглашаются жить как животные, то есть чтобы «есть, пить, спать, устраивать гнезда и выводить детей. О, жрать, да спать, да гадить, да сидеть на мягком – еще слишком долго будет привлекать человека на земле...».

В представлении Достоевского подобные «идеалы» далеко не безобидны для нравственного состояния личности и направления исторического развития, поскольку укрепляют в человеке «ожирелый эгоизм», делают его неспособным к жертвенной любви, потворствуют формированию разъединяющего людей гедонистического жизнепонимания. И тогда «чувство изящного обращается в жажду капризных излишеств и ненормальностей. Страшно развивается сладострастие. Сладострастие родит жестокость и трусость... Жестокость же родит усиленную, слишком трусливую заботу о самообеспечении. Эта трусливая забота о самообеспечении всегда, в долгий мир, под конец обращается в какой-то панический страх за себя, сообщается всем слоям общества, родит страшную жажду накопления и приобретения денег. Теряется вера в солидарность людей, в братство их, в помощь общества, провозглашается громко тезис: „Всякий за себя и для себя“... все уединяются и обособляются. Эгоизм умерщвляет великодушие».

Глубокое понимание подобных нетривиальных причинно-следственных связей и непрямолнейных закономерностей общественного развития позволяло Достоевскому еще в зародыше раскрывать нравственную половинчатость

различных новоиспеченных идеалов, а точнее идолов, не искореняющих, а лишь иначе направляющих и тем усложняющих извечные пороки людей, приспособливающих к ним. Таких идолов или «невьясненных идеалов» в системе его размышлений можно назвать еще «несвятыми святынями». «Я ищу святынь, – писал он, – я люблю их, мое сердце их жаждет, потому что я так создан, что не могу жить без святынь, но все же я хотел бы святынь хоть капельку посвятее, не то стоит ли им поклоняться?»

Под несвятыми святынями в процитированных строках имеется в виду не всегда совпадающая с подлинной формальная справедливость «юной школы изворотливости ума и засушения сердца» – так называл писатель судебную практику в буржуазно-демократических правовых отношениях, достоинством которых, как он полагал, необходимо отдавать должное, но нельзя их абсолютизировать. Правовой строй в его представлении направлен лишь на регулирование благопристойности внешних отношений между людьми, а не на внутреннее содержание, скрывающееся за этими отношениями. «Хитрый закон требует, чтобы соблюдена была при этом надлежащая учтивость». «Учтив буду, а хлеба не дам», – раскрывал Достоевский идолопоклонничество перед юридическим формализмом, в благопристойной оболочке которого склонность личности к дурным поступкам делается незаметнее, тоньше, изощреннее, что еще более укореняет изначальные слабости человеческой природы.

В записной книжке писателя есть такие слова: «Дуэль – приняв букву, мы расширили склонность к дурным поступкам». То есть имеется в виду, что внешне благородный кодекс не врачует, а распаляет самолюбие людей и доводит их разделение до убийства. Таких красивых «букв», превращающихся при бездумной фетишизации в «мундирные» идеи, Достоевский находил вокруг себя предостаточно – например, фальшивые лозунги свободы, равенства и братства, ведущие на деле к торжеству посредственности и денежного мешка. Чутье на такие перевертыши, когда за речами о правде скрывается ложь, за претензией на истину и здравый смысл – мошенничество, за стремлением к подвигу – злодейство и т. п., у него было необыкновенное. И он постоянно снимал позолоту с благородных по видимости формулировок, обнажал в них не всегда осознаваемые глубинные мотивы, не входящие в поле зрения «мудрецов чугуновых идей» и «исступленной прямолинейности».

Поэтому важное значение в публицистике Достоевского имеет критическое рассмотрение внедряемых в социальное сознание репутаций различного рода деятелей, своеобразие которых заключается не в высоком духовно-

нравственном состоянии их души, а в привилегированном социальном положении, в достижениях ума и таланта. Перед условными лучшими людьми, как он их называл, преклоняются как бы по принуждению, в силу их социально-кастового авторитета, который меняет свои формы при перестройке конкретно-исторических обстоятельств. Писатель и наблюдал как раз одну из подобных смен, когда от прежних условных людей «как бы удалилось покровительство авторитета, как бы уничтожилась их официальность» (княжеская, боярская, дворянская) и их место занимали профессиональные политики, деятели науки, денежные дельцы... С беспокойством отмечал он, что никогда в России не считали новую условность – «золотой мешок» – за высшее на земле, что «никогда еще не возносился он на такое место и с таким значением, как в последнее наше время», когда поклонение деньгам и стяжание захватывают все сферы жизни и когда под эгидой этой новой условности наибольший авторитет приобретают промышленники, торговцы, юристы и т. п. «лучшие люди». Достоевский считал, что развратительнее подобного поклонения не может быть ничего, и с опасением обнаруживал везде его развращающее воздействие: «В последнее время начало становиться жутко за народ: кого он считает за своих лучших людей... Адвокат, банкир, интеллигенция».

К «лучшим людям», по его наблюдению, все чаще стали относить деятелей науки, искусства и просвещения: «Решили наконец, что этот новый и „лучший“ человек есть просто человек просвещенный, „человек“ науки и без прежних предрассудков». Но мнение это трудно принять по очень простому соображению: «человек образованный не всегда человек честный», а «наука еще не гарантирует в человеке доблести».

Противоречие между образованностью и нравственностью Достоевский относил к числу важнейших в новое время и постоянно отмечал его. «Или вы думаете, – обращался он к тем, кто видел в повышении образования панацею от всех бед, – что знания, „науки“, школьные сведеньица (хотя бы университетские) так уже окончательно формируют душу юноши, что с получением диплома он тотчас же приобретает незыблемый талисман раз навсегда узнавать истину и избегать искушений, страстей и пороков?» По его убеждению, своеобразие научной деятельности, требующей, казалось бы, самоотвержения и великодушия, обнаруживает тем не менее «низменность нравственного запроса, нравственного чувства», что не способствует духовному просветлению и душевному оздоровлению человека. Отсюда и естественное появление высокообразованных и прехитрых монстров с многосложной жадью интриги и власти, а также таких, например, вопросов: «Но многие ли из ученых устоят перед язвой мира? Ложная честь, самолюбие, сластолюбие захватят и их.

Справьтесь, например, с такою страстью, как зависть: она груба и пошла, но она проникнет и в самую благородную душу ученого. Захочется и ему участвовать во всеобщей пышности, в блеске... Напротив, захочется славы, вот и явится в науке шарлатанство, гоньба за эффектом, а пуще всего утилитаризм, потому что захочется и богатства. В искусстве то же самое: такая же погоня за эффектом, за какою-нибудь утонченностью. Простые, ясные, великодушные и здоровые идеи будут уже не в моде: понадобится что-нибудь гораздо поскоромнее; понадобится искусственность страстей».

В эпоху всевозможных смешений и сложных сочетаний, коварных идолов и раздвоенности поведения Достоевский придавал особое значение духовной трезвости, нелегкому умению отделять зерна от плевел, способности распознавать еще в истоках порочные движения «натуры», нередко глубоко спрятанные под покровом самых благопристойных форм неосознанного эгоистического лицемерия, престижных видов деятельности или даже человеколюбивых идей. «Вот в том-то и ужас, что у нас можно сделать самый пакостный и мерзкий поступок, не будучи вовсе иногда мерзавцем!.. В возможности считать себя, и даже иногда почти в самом деле быть, немерзавцем, делая явную и бесспорную мерзость, – вот в чем наша современная беда!»

По наблюдению Достоевского, наступили такие времена, когда со всей остротой и серьезностью встают проблемы честной неправды или искренней лжи, то есть бессознательной подмены подлинных ценностей мнимыми, безотчетно укороченного, непродуманного до конца отношения к разным вопросам жизни. В результате люди теряют способность замечать, «что затемнился идеал прекрасного и высокого, что извращается и коверкается понятие о добре и зле, что нормальность беспрерывно сменяется условностью, что простота и естественность гибнут, подавляемые беспрерывно накапливающейся ложью!». Так, наивное приятие условными лучшими людьми своей условности за нечто безусловное, самоотождествление с играемой в обществе ролью придает их поведению невольный оттенок обманывающего актерства. В их душе создается своеобразный «внутренний театр», поддерживающий естественность внешнего рисунка исполняемой роли и маскирующий пороки, что существенно усиливает взаимное непонимание представителей разных сословий и групп общества. Отрицательное значение игры в благородство, когда блестящая наружность поведения светских людей, правительственных чиновников, литераторов, артистов сочетается с «недоделанностью» их души, а над сердцем и умом висит «стальной замочек хорошего тона», писатель видел в том, что она вместо действительной «красоты людей» создает фальшивую «красоту правил»,

которая не только маскирует пороки, но и незаметно помрачает простоту души и «съедает» ее подлинные достоинства. Ведь по какому-то особому закону «буква и форма правил» незаметно скрадывают «искренность содержания», что мешает самосовершенствованию человека, укрепляет его «недоделанность».

Даже в таланте писатель находил часто неизбежную возможность излишней «отзывчивости» и «игривости», что опять-таки невольно усыпляет совесть, уклоняет от истины, удаляет от человеколюбия. Например, увлечение красным словом или высоким слогом постепенно мельчит ум и огрубляет душу у иного великодушного литератора или юриста. Вместо сердца у такого деятеля начинает биться «кусочек чего-то казенного, и вот он, раз навсегда, забирает напрокат, на все грядущие экстренные случаи, запасик условных фраз, словечек, чувствиц, мыслиц, жестов и воззрений, все, разумеется, по последней либеральной моде, и затем надолго, на всю жизнь, погружается в спокойствие и блаженство».

Неразличение правды, основанное на искренней лжи, Достоевский обнаруживал и в необузданном оптимизме современных прогрессистов, возлагавших надежду при движении к всечеловеческому братству на успехи культуры и цивилизации. Однако при непредвзятом взгляде оказывается, что в результате цивилизации люди приобрели «коротенькие идейки и парикмахерское развитие... циничность мысли вследствие ее короткости, ничтожных, мелочных форм», окультурились лишь в новых предрассудках, новых привычках и новом платье.

К тому же набравшая силу буржуазная цивилизация порождает процессы, не побуждавшие к глубокой духовной культуре, которая преобразила бы весь строй душевного мира человека и эгоистических стимулов его поведения. «Война бывает каждые 25 лет. Не останавливают ее ни развитие, ни ничего... Так что прогресс и гуманность одно, а какие-то законы – другое».

Согласно этим неявным законам, прогресс и «гуманность», не имеющие достаточного духовного основания и ясного нравственного содержания, грозят обернуться и оборачиваются регрессом и варварством. Например, внешнее достижение благородной цели равенства людей не облагораживает их внутренне. Ведь «что такое в нынешнем образованном мире равенство? Ревнивое наблюдение друг за другом, чванство и зависть...». И никакие договоры не способны предотвратить войны, если сохраняется подобное состояние человеческих душ, видимое или невидимое соперничество которых порождает все новые материальные интересы и соответственно требует

увеличения разнообразия всевозможных захватов. В результате мирное время промышленных и иных бескровных революций, если оно не способствует преобразению эгоцентрических начал человеческой деятельности, а, напротив, создает для них питательную среду, само вызывает потребность войны, «выносит ее из себя как жалкое следствие». Поэтому, считал Достоевский, необходимо трезво и, так сказать, заранее оценивать те или иные перспективы «хода дела», постоянно спрашивать себя: «В чем хорошее и что лучшее... В наше время вопросы: хорошо ли хорошее?»

Подобные вопросы вставали перед ним и тогда, когда он анализировал радикальные теории утопического социализма, основанные на утилитарных и рационалистических началах. Писатель считал, что вульгарно-социологические проекты «разумного» общественного устройства, основанные на равновеликой экономической пользе, не учитывают противоречивой глубины человеческой свободы, несовершенные движения которой изначально устремлены к расширению и возвышению своих прав, собственности, своеволия. По его мнению, всякое «научное» решение социальных вопросов без корректив на неоднозначную волевою глубину с ее тайными страстями грозит трагическими срывами.

Стремление достичь общечеловеческой гармонии «извне», с помощью ограниченных и не до конца продуманных теорий при отсутствии внимания к изначальному внутреннему несовершенству человека приводит к практическому банкротству этих теорий, с чем, предупреждал Достоевский, придется столкнуться будущим поколениям. Такая возможность казалась ему неизбежной еще и потому, что из поля зрения искателей справедливого общественного устройства ускользал и целый ряд других сверхрассудочных особенностей человеческого бытия, не поддающихся строгому логическому вычислению. Внимание писателя к подобным особенностям позволяло ему определить одно важное явление, которое он в зависимости от контекста и степени снижения нравственного содержания называл «лакейством мысли» или «волочением идеи по улице». Благородство и чистота помыслов всех тех, кто взыскует равенства и братства, могут, по его наблюдению, исказиться уже одной только торопливостью в выводах и обобщениях, принятием гипотез за несокрушимые аксиомы, бездумным, не позволяющим себе никакого анализа, воплощением гуманных идей, сопровождающимся огульным отрицанием тысячелетних традиций, исторических ценностей и народных идеалов. Когда же эти идеи «падают на улицу», то к ним примазываются «плуты, торгующие либерализмом», или интриганы, намеревающиеся грабить, но придающие своим намерениям «вид высшей справедливости». И в конце концов «смерды

направления» доходят до убеждения, что «денежки лучше великодушия» и что «если нет ничего святого, то можно делать всякую пакость».

Закон искажения великодушных идей Достоевский рассматривал с законом их таинственного отражения, то есть безотчетного столкновения в самой глубине души человека ощущения их смысловой неполноты и чувства их реальной неосуществимости для каждой конкретной личности с требованиями абсолютной разумности. Роль унавоживающего материала для будущей гармонии невольно заставляет человека задумываться (с разной степенью отчетливости и осознанности) над тем, что «жизнь человечества в сущности такой же миг, как и его собственная, и что назавтра же по достижении „гармонии“ (если только верить, что мечта эта достижима) человечество обратится в тот же нуль, как и он, силою косных законов природы, да еще после стольких страданий, вынесенных в достижении этой мечты, – эта мысль возмущает его дух окончательно, именно из-за любви к человечеству возмущает, оскорбляет его за все человечество и – по закону отражения идей – убивает в нем даже самую любовь к человечеству».

Многосторонний анализ подобных законов показывал Достоевскому, что ни утопические теории, ни цивилизация, ни демократия, ни равновеликая для всех возможность «есть, пить и наслаждаться» не увеличивают область добра в душе человека и не подвигают его к братолюбию. Напротив, зло и эгоизм как бы переодеваются в процессе истории, приспособляются к новым условиям, становятся замаскированнее, изощреннее, следовательно, устойчивее, потенциально опаснее и страшнее.

Размышляя над этими вопросами, он отмечал в «Дневнике писателя»: «Ясно и понятно до очевидности, что зло таится в человечестве глубже, чем предполагают лекаря-социалисты, что в никаком устройстве общества не избегнете зла, что душа человеческая останется та же, что ненормальность и грех исходят от нее самой и что, наконец, законы духа человеческого столь еще неизвестны, столь неведомы науке, столь неопределенны и столь таинственны, что нет еще ни лекарей, ни даже судей окончательных ...»

Раскрывая сложный духовный мир человека, многообразные движения его свободной воли, Достоевский обнаруживал, что все они, несмотря на неодинаковое содержание и разные сферы действия, направлены обычно к самосохранению, господству и наслаждению. И в бытовых, служебных, любовных взаимоотношениях людей, и во всеохватных принципах и идеях по

видимости не похожих друг на друга «учредителей и законодателей человечества» естественные гордо-эгоистические и агрессивно-гедонистические свойства человеческой природы, если их «натуральность» не пресечена и не подчинена действительно укорененному в бытии высочайшему идеалу, ведут потенциально и реально к самопревозношению разнородных личностей, к их разъединенности и вражде.

Писатель внимательно изучал самые разные, казалось бы, мелочи (а на самом деле не мелочи!) окружавшей его жизни, часто находя в них, к своему сожалению, отражения вездесущих эгоистических стремлений к принижающему других господству. Грубость, раздражение, «мелочное юпитерство», вызванное затаенным желанием отомстить кому-то за свое ничтожество пренебрежением и невнимательностью, особенно заметны «в самой мелкой букашке, вот из тех, которые сидят и дают публике справки, принимают от вас деньги и выдают билеты и проч.». Похожую картину можно наблюдать и на железных дорогах, где даже самый последний чиновник «смотрит так, как бы имеющий беззаветную власть над вами и над судьбой вашей, над семьей вашей и над честью вашей, только бы вы попались к нему на железную дорогу».

На таком небольшом примере писатель наглядно показывает, как разлагаются человеческие отношения и переворачивается всякий порядок, когда вольно или невольно выпячивается «Я» со своей жадой хоть крошечной, да власти. Он хорошо видел, что в эпоху «шатких семейств» и «скептических отцов», равнодушных к высшим ценностям, эта жажда особенно обостряется и рождает время «хотя великих реформ и событий, это бесспорно, но вместе с тем и усиленных анонимных писем ругательного характера». И многие, хотя не пишут таких писем, являются в душе анонимными ругателями. Онтологическая и нравственная необеспеченность социальных целей при ослаблении основополагающих идеалов создает, считал Достоевский, благоприятные условия, препятствующие самоуважению человека в собственном его положении и развивающие завистливую «роковую заботу» отыскивать везде и всегда как можно больше людей хуже себя. Отсюда повсеместная гонка и непрерывное соревнование неутоленных честолюбий и обойденных самолюбий, а также наивное внутреннее недоумение: «Зачем, дескать, везде они, а не я, зачем не обращают и на меня внимания». Подобные стремления и чувства нередко могут не осознаваться, доставлять большие мучения, даже иной раз выливаться в крайние жестокости и немотивированные преступления, ну а чаще всего – превращаться в желание «просто напакостить, ну там наклеветать, налгать, насплетничать или анонимное ругательное письмо пустить».

Достоевский подчеркивает, что тщеславие и зависть, питающие затаенную наглость и ждущую своего часа несправедливость, разъедают личность и вносят разлад в самые обычные бытовые отношения. Но то же самое происходит, как явствует из его размышлений, и на уровне личности той или иной нации, в масштабе межгосударственных отношений. И торжество эгоистических интересов здесь, затирающих нравственные начала, также не может продолжаться безнаказанно: «...позорное и порочное несет само в себе смерть и, рано ли, поздно ли, само собою казнит себя. Война, например, из-за приобретения богатств, из-за потребности ненасытной биржи, хотя в основе своей выходит из того же общего всем народам закона развития своей национальной личности, но бывает тот предел, который в этом развитии переходить нельзя и за которым всякое приобретение, всякое развитие значит уже излишек, несет в себе болезнь, а за ней и смерть».

Достоевский утверждал, что свобода как величайшая ценность человека есть и самый крупный камень преткновения, если она понимается как «разнузданность желаний», приводящих к рабской зависимости от похоти, денег и ложных авторитетов, а в конечном итоге – к самоуничтожению. Подлинная же свобода заключается «в одолении себя и воли своей, так чтобы под конец достигнуть такого нравственного состояния, чтоб всегда во всякий момент быть самому себе настоящим хозяином». Поэтому для достойной жизни как отдельных личностей, так и целых народов необходимо, по мнению писателя, умение справиться с собственной свободой, переплавить жизнеотрицающую силу мнимой свободы в жизнеутверждающую силу свободы действительной, направить ее центростремительно, альтруистически, к объединению с целым.

Такое перерождение от рабства к свободе, от своекорыстного к добролюбящему расположению души осуществимо лишь при глубоком переживании или ясном осознании возможностей и парадоксов природы человека и его истории. Оздоровление корней желаний происходит, по убеждению писателя, только тогда, когда человеческая душа полностью захвачена противоположным эгоистической натуре абсолютным идеалом, стирающим в ней все остальные «идеалы» и идолы.

Абсолютным и прекрасным идеалом, создающим непосредственное ощущение непобедимой красоты и отклоняющим натуру от эгоистического своеволия, была для Достоевского, как известно, личность Христа, в которой, по его убеждению, воплотились свойства высшего и полного развития человека. В логике Достоевского безраздельная и беззаветная любовь Христа к людям, являющаяся

главной силой идеала и как бы венчающим синонимом высшего и полного развития личности, предельного выражения ее свободы, есть одновременно и величайшее самостеснение, жертва, победа над «адамовой» натурой. Писатель постоянно подчеркивал, что основное свойство подлинной, духовной, любви заключается в ее бескорыстной жертвенности, полной самоотдаче ради предмета любви. В противном случае возникают ее суррогаты, выступающие в замаскированных формах чувственного эгоизма.

В эпоху Достоевского возникало много толкований духовности, много разных «нравственностей», которые скрыто или явно, осознанно или неосознанно, приспособлялись к порочным началам человеческой природы, а не искореняли их. Настоящая нравственность, по мнению писателя, противоположна множественности понятий и вытекает из «признания высшей красоты, служащей идеалом для всех». Только высшее, самое высшее, не уставал повторять он в своих статьях, – высшее сознание, высшее развитие, высшие цели жизни, вытекающие из «векового идеала», – отрывает человека от самолюбивых склонностей его натуры и ведет «по дороге жизни» к действительному братолюбию. И не образованием, не внешней культурностью и светским лоском, не научными и техническими достижениями, а лишь «возбуждением высших интересов» можно перестроить глубинную структуру эгоистического мышления. «Да тем-то и сильна великая нравственная мысль, тем-то и единит она людей в крепчайший союз, что измеряется она не немедленной пользой, а стремится их будущее к целям вековым, к радости абсолютной».

Без «великой нравственной мысли», считал Достоевский, невозможно нормальное развитие, гармоничный ум и жизнеспособность личности, государства, всего человечества, поскольку только в ней человек постигает «всю разумную цель свою на земле» и осознает в себе «лик человеческий». Без обретения же смысловой полноты и высоты бытие человека оказывается неестественным и нелепым, связи его с различными проявлениями жизни становятся тоньше, а сама жизнь выливается в перекосы и катастрофы. Поэтому так тревожило писателя его время, когда с прогрессирующей быстротой стало повсеместно распространяться безразличное и даже нигилистическое отношение к высшим идеям человеческого существования как к «вздору» и «стишкам».

Но именно в потере вековых идеалов, высшего смысла, высшей цели жизни, в исчезновении «высших типов» вокруг Достоевский находил первопричину подспудного разлития нигилистической атмосферы, когда «что-то носится в

воздухе полное материализма и скептицизма; началось обожание даровой наживы, наслаждения без труда; всякий обман, всякое злодейство совершаются хладнокровно; убивают, чтобы вынуть хоть рубль из кармана. Я ведь знаю, что и прежде было много скверного, но ныне бесспорно удесятирилось. Главное, носится такая мысль, такое как бы учение или верование».

«Почему же мы дрянь?» – спрашивал Достоевский, вникая в эти неосознанные учения и безотчетные верования, и отвечал: «Великого нет ничего». В отсутствии представлений о величии и неслучайности человеческой жизни на земле он обнаруживал корни взаимообусловленных духовных болезней своего века.

Молодежь, считал он, не может остановиться на еде, чинах, поклонении подчиненных, везде и всегда она жаждала и искала положительных идеалов – во что верить, что уважать, к чему стремиться. Однако в семье, школе и у своих идейных руководителей она усваивает лишь скептический взгляд на высшие цели жизни, заменяемые более практическими интересами и современными задачами, которые имеют скудное нравственное содержание. Провозглашаемые при этом абстрактные призывы к справедливости и братству, поначалу увлекаая юных людей, тем сильнее разочаровывают их впоследствии, когда оказывается на поверку ошибочным полагать, будто «добрые дела, нравственность и честность есть нечто данное и абсолютное, ни от чего не зависящее и которое можно всегда найти в своем кармане, когда понадобится, без трудов, сомнений и недоумений». Это разочарование приводит к ослаблению у молодого поколения чувства долга и обязанности по отношению к отцам и матерям, к принципам и убеждениям, в конце концов к тем же самым практическим интересам и современным задачам. У юношей и девушек теряется подлинная свобода, то есть становится все «меньше удержу и внешнего и внутреннего, в себе самом заключающегося», и страдания от бессознательной тоски из-за бесцельной жизни приводят наиболее ранимых среди них к самоубийству.

Достоевскому казались легкомысленными и бесчестными те выступления журналистов, которые вместо указания на эти цели бездумно захваливали молодежь и заигрывали с ней для повышения собственной популярности, угождая ее сиюминутным требованиям. В результате «многие из молодежи... действительно полюбили грубую похвалу, требуют себе лести и без разбора готовы обвинить всех тех, кто не потакает им сплошь и на всяком шагу...». А это создает им дополнительные психологические препятствия для понимания «лжи и неправды почти всего, что считают светом и истиной», для осознания

глубинных оснований их духовного неблагополучия.

В пренебрежении к высшим преемственным и объединяющим идеям определял Достоевский и главную причину разлада во взаимоотношениях отцов и детей. У отцов Достоевский не находил ни одной действительно великой, глубокой и сильной идеи, в которую они бы по-настоящему верили. «Рутинна наша, и богатая и бедная, любит ни об чем не думать и просто, не задумываясь, развратничать, пока силы есть и не скучно. Люди получше рутины „обособляются“ в кучки и делают вид, что чему-то верят, но, кажется, насильно и сами себя тешат». Однако кружковая, искусственная и иллюзорная вера способствует образованию «случайных семейств», воспитание в которых не имеет достаточных духовно-нравственных опор.

Писатель подмечает, например, важную отрицательную особенность современной педагогики, озабоченной желанием обезопасить ребенка с самого рождения от любых затруднений и лишений, стремящейся облегчить ему всякое приобретение знаний и даже детские игры. Но ведь порою «облегчение вовсе не есть развитие, а, даже напротив, есть отупление. Две-три мысли, два-три впечатления, поглубже выжитые в детстве, собственным усилием (а если хотите, так и страданием), проведут ребенка гораздо глубже в жизнь, чем самая облегченная школа, из которой сплошь да рядом выходит ни то, ни се, ни доброе, ни злое...»

В теплохладном равнодушии облегченной школы и вырастает незаметно поклонение «вечному и глупому идеалу середины, вседозвольному самомнению и пошлomu благоразумию», влияние которого может предупредить лишь воспитание, зароняющее в сердце «великие вопросы». По убеждению Достоевского, «без зачатков положительного и прекрасного нельзя пускать поколение в путь». Однако в действительности все происходит наоборот именно потому, что «общего нет ничего у современных отцов... связующего их самих нет ничего. Великой мысли нет (утратилась она), великой веры нет в их сердцах в такую мысль. А только подобная великая вера и в состоянии породить прекрасное в воспоминаниях детей».

Обретение же «великой веры» зависит от преодоления разрыва между поколениями и соединения, как подчеркивал Достоевский, с лучшими историческими традициями и подлинными святынями народа, которые осмеивались и презрительно отбрасывались «ходом дела» в буржуазном обществе. «В народные идеалы не верят многие, – отмечал он, – и не знают их,

даже говорят, что лучше совсем без идеалов». Ампутация исторической народной памяти, обладающей, подобно совести и любви, «удлиняющими», восстанавливающими и связующими свойствами, и порождала в ряду других причин «коротенькие идейки» и большие трагедии.

Воспроизводя логику деятелей полуобразования и полупросвещения, создававших из положительного знания новую разъединяющую силу и крепостную зависимость от «высокомерного просвещения», Достоевский писал: «Образование же его (народа. – Б. Т.) мы оснуем и начнем с чего сами начали, то есть на отрицании им всего его прошлого и на проклятии, которому он сам должен предать свое прошлое. Чуть мы выучим человека из народа грамоте, тотчас же начнем обольщать его... утонченностью быта, приличий, костюма, напитков, танцев, – словом, заставим его устыдиться своего прежнего лаптя и квасу, устыдиться своих древних песен, и хотя из них есть несколько прекрасных и музыкальных, но мы все-таки заставим его петь рифмованный водевиль... Он застыдится своего прежнего и проклянет его. Кто проклянет свое прежнее, тот уже наш, – вот наша формула! Мы ее всецело приложим, когда примемся возносить народ до себя. Если же народ окажется неспособным к образованию, то – «устранить народ».

Обращаясь к инициаторам «парикмахерского развития», которые пытались учить народ поклоняться новым идолам и «новым предрассудкам», чреватых и новыми драматическими переворотами и разломами, Достоевский одновременно как бы обращался и к самому себе, ко всей интеллигенции: «нравственное-то, высшее-то что передадим народу», чем мы «нравственно, существенно» выше его? Цивилизация, повторял он, не может создать и укрепить братского общества. Оно «созидается нравственными началами, а в нравственных началах выше народ». Народная жизнь, по его представлению, полна сердцевины, силы, непосредственности и мысли, «а вот ее-то вы, стремясь в нее с вашей глупенькою культурою, и хотите уничтожить».

Достоевский не идеализировал народ, хорошо видел его недостатки, никогда не скрывал их, а, напротив, стремился выявлять для лучшего осознания и напоминания о их возможных последствиях. Например, его всегда настораживала чрезмерная широта русского характера, способность уживаться со многими уродливыми явлениями и раздвигать совесть «до такой роковой безбрежности, от которой... ну чего можно ожидать, как вы думаете?». А ожидать можно, отвечал писатель, сплошного отрицания, вплоть до отречения от «самой главной святыни сердца своего, самого полного идеала своего». В

этом забвении всякой мерки во всем не только «русский Мефистофель», но и «иной добрейший человек как-то вдруг может сделаться омерзительным безобразником и преступником, – стоит только попасть ему в этот вихрь, роковой для нас круговорот судорожного и моментального самоотрицания и саморазрушения, так свойственный русскому народному характеру в самые роковые минуты его жизни».

Вместе с тем писатель призывал судить о нравственной силе русского народа по той высоте духа, на которую он способен подняться. Несмотря на тяжелые исторические испытания, в самом зерне народной жизни сохраняются идеалы высшей красоты и правдивости, которые «и спасли его в века мучений; они срослись с душой его искони и наградили ее навеки простодушием и честностью, искренностью и широким всеоткрытым умом, и все это в самом привлекательном, гармоническом соединении. А если притом и так много грязи, то русский человек и тоскует от нее более сам, и верит, что все это – лишь наносное и временное, наваждение диявольское, что кончится тьма и что непременно воссияет когда-нибудь вечный свет».

Именно в народной вере в вечный свет Достоевский находил основу для настоящего просвещения, без которого неосуществимо «великое дело любви». Смысл подлинного просвещения выражен, по его мнению, в самом корне этого понятия, есть «свет духовный, озаряющий душу, просвещающий сердце, направляющий ум, подсказывающий ему дорогу жизни». Такое просвещение и отличает, по его мнению, условных лучших людей от безусловных, которые познаются не социально-кастовой принадлежностью, не умом, образованностью, богатством и т. п., а наличием духовного света в своей душе, благоустроенностью сердца, высшим нравственным развитием и влиянием. К таким людям он относил испокон веков распространенных на Руси праведников, в которых ярко выражена «потребность быть прежде всего справедливыми и искать лишь истины». Народные святыни, а не науки и привилегии, отмечал писатель, указывают лучших людей. «Лучший человек по представлению народному – это тот, который не преклонился перед материальным соблазном... любит правду и, когда надо, встает служить ей, бросая дом и семью и жертвуя жизнью».

При общем взгляде на публицистику писателя прослеживается взаимосвязь тех свойств, которые составляют «благородный материал», входят в «эстетику души» безусловных лучших людей, получивших истинное просвещение и способных стать братьями другим. Праведность, правдолюбие, глубокий ум,

возвышенность, благородство, справедливость, честность, подлинное собственное достоинство, самоотверженность, чувство долга и ответственности, доверчивость, открытость, искренность, простодушие, скромность, умение прощать, органичность и целостность мировосприятия, внутреннее благообразие и целомудрие – эти духовно-душевные черты, свидетельствующие о внутренней победе над эгоцентрическими началами несправедливого строя жизни, определяют личности, перед которыми «добровольно и свободно склоняют себя, чтя их истинную доблесть», перед которыми преклоняются «сердечно и несомненно».

Достоевский подчеркивал в этой взаимосвязи особую роль незаметно-«детских» и миролюбиво-«женских» качеств (от доверчивости до умения прощать), поскольку они с их чрезвычайно значащей незаметностью как бы определяют возвышающее и уравнивающее действие остальных свойств и полярно противостоят принижающим и вносящим дисгармонию самолюбивым началам. Соответственно погашенность любых агрессивно-захватнических проявлений составляет твердую сердцевину «плюсовых людей», которая, по убеждению Достоевского, защищает их от воздействия «излишеств и уклонений нашей культуры». Они принципиально сильны именно своей «слабостью», то есть органической расположенностью к добру и мужеством отказа распространять зло в мире в каких бы то ни было формах, даже в форме ложного добра и жизнотворчества. Отсюда и их историческая непрямолинейность, «тихость». Безусловные лучшие люди, отмечал он, «отчасти иногда неуловимы, потому что даже идеальны, подчас трудно определимы...».

Летопись истории обычно заполнена героями, полководцами, историческими деятелями, иначе говоря, людьми выдающимися, которые, по логике Достоевского, неизбежно втянуты в сферу влияния разрушительной гордости и, следовательно, в разной степени являются носителями зла. Между тем в «рядовых» истории, в ее второстепенных персонажах наиболее определенно и вполне закономерно проявляются в несмешанном виде самые простые, но одновременно и самые глубокие нравственные чувства. И без «тихой истории» праведников, как бы нейтрализующих «шум» и «ярость» бурного общественно-исторического процесса, зло не имело бы никаких преград. В «тихой истории» и в утверждающих ее духовно-волевых качествах содержится предпосылка и принципиально иного жизнотворчества, из которого было бы искоренено до сих пор естественно входящее в самые разные его формы самопревозношение, не успокаивающее, а, напротив, постоянно разжигающее зависть и жажду первенства. Поэтому писатель призывал не стыдиться «наивных и простодушных форм, в которых народ „лучшего человека“ указывает», понять

важное значение «незаметности» и «смирения» в созидании высокой духовной атмосферы общества.

Это значение связано и с излюбленной мыслью Достоевского о виновности отдельной личности перед остальными, виновности не юридической, а онтологической, основанной на признании изначального несовершенства человека и вместе с тем его сопричастности всему происходящему в мире. Каждый виноват в мере отсутствия света в собственной душе и бескорыстной любви к людям. Следствия душевного мрака и эгоцентризма, различные по степени и содержанию, но неискоренимые до конца в любом человеке, по невидимым каналам разливаются вокруг. И малейшие наши злые помыслы, слова и поступки, как считал Достоевский, незримо отпечатываются в душах окружающих, распространяются все дальше и дальше в пространстве и времени, подвигая кого-то к зависти или гордости, к рабству или тиранству. Так накапливается и растет в мире отрицательный духовный потенциал, питающий происходящие в нем злодеяния.

Поэтому мудрое понимание собственной теоретической и практической ограниченности, изменение себя в сторону подлинного совершенствования, то есть увеличения света и бескорыстной любви к людям в своей душе, способствует согласованности целей и средств, препятствует смещению добра и зла, предопределяет движение к мировой гармонии «изнутри». Такой ход мысли дополнительно объясняет известный призыв Достоевского к «гордому человеку» в пушкинской речи смириться и потрудиться на родной ниве. «Победишь себя, усмиришь себя, – и станешь свободным как никогда и не воображал себе, и начнешь великое дело, и других свободными сделаешь... нигде мировая гармония, если ты первый сам ее недостойн, злобен и горд...»

Достигая высшей свободы для служения великому делу, человек, по мнению писателя, своим личным благолепием существенно изменяет сознание других к лучшему, поскольку людей особенно нравственно ободряет живой пример соответствия слова и дела. И наоборот. «О том, что литературе (в наше время) надо высоко держать знамя чести, – замечал Достоевский в записной тетради. – Представить себе, что бы было, если б Лев Толстой, Гончаров оказались бы бесчестными? Какой соблазн, какой цинизм и как многие бы соблазнились. Скажут: „Если уж эти, то... и т. д.“. То же и наука». Писатель призывал всех тех, кто взял на себя по роду деятельности ответственность сеять «доброе, разумное, вечное»: «Прежде чем проповедовать людям: „как им быть“, – покажите это на себе. Исполните на себе сами, и все за вами пойдут... Исполни

сам на себе прежде, чем других заставлять, – вот в чем вся тайна первого шага».

Достоевский считал, что не «начало только всему» есть личное самосовершенствование, но и продолжение всего и исход. Оно объемлет, зиждет и сохраняет организм национальности, и только оно одно, поскольку идеал гражданского устройства, складываясь исторически, является исключительно результатом «нравственного самосовершенствования единиц, с него и начинается... было так спокон века и пребудет во веки веков».

Таким образом, подлинное преуспевание общества в самых разных областях неразрывно связано с внутренним нравственным благоустроением его граждан. Говоря, например, о возможном изменении и оздоровлении чиновничьей деятельности, Достоевский подчеркивает: «Оппозиция бюрократии бьет мимо цели. Главного-то шагу и не видят... Сущность в воспитании нравственного чувства». Без учета этой сущности постоянное сокращение штатов приводит тем не менее к тому, что штаты парадоксальным образом как бы увеличиваются. Чиновники же, симулируя никак не определяемую нравственную активность, пытаются ограничиться косметическими переменами, ничего по существу не меняя и рассуждая про себя: «...мы уж лучше сами как-нибудь там исправимся, пообчистимся, ну, что-нибудь введем новое, более, так сказать, прогрессивное, духу века соответствующее, ну там станем как-нибудь добродетельнее или что...» В результате освобожденный от крепостной зависимости народ не имеет самостоятельности и духовной поддержки, поскольку в земстве, общине, суде присяжных и в других демократических формах общества «тянет к чему-то похожему на начальство». Назначаются ревизии, устраиваются комиссии, выделяющие из себя подкомиссии. Дотошные наблюдатели, замечает писатель, подсчитали, что «у народа теперь, в этот миг, чуть ли не два десятка начальственных чинов, специально к нему определенных, над ним стоящих, его оберегающих и опекающих. И без того уже бедному человеку все и всякий начальство, а тут еще двадцать штук специальных! Свобода-то движения ровно как у мухи, попавшей в тарелку с патокой. А ведь это не только с нравственной, но и с финансовой точки зрения вредно, то есть такая свобода движения».

Отсутствие «главного шагу» ослабляет, по мысли Достоевского, и различные экономические реформы, сияющие сию же минуту, «вдруг и совсем даже как-то внезапно, иной раз даже никак до того неожиданным предписанием начальства», улучшить текущую действительность, повысить бюджет государства, погасить долги, преодолеть дефицит. Однако при такой торопливости добиваются только «временной, материальной глади»,

воспроизводят в слегка подновленном виде лишь существующее. Эти «механически-успокоительные утешения» не приводят к «действительно гражданскому, нравственно-гражданскому» порядку и сохраняют общую атмосферу для тех, кто точит зубы на казну и общественное достояние, кто превращается «в карманных промышленников, иные в дозволенных, а иные и прикрывать себя юридически не станут». Нравственно-гражданский беспорядок при паллиативном экономическом процветании разлагает сознание наблюдающих его и укрепляет социальное нестроение. «Посмотрит иной простак кругом себя и вдруг выведет, что одному-де кулаку и мироеду житье, что как будто для них все и делается, так стану-де и я кулаком, – и станет. Другой, помирнее, просто сопьется, не потому, что бедность одолела, а потому, что от бесправицы тошно. Что же тут делать? Тут фатум».

Для одоления этого фатума необходимо, утверждал Достоевский, направить внимание «в некую глубь, в которую, по правде, доселе никогда и не заглядывали, потому что глубь искали на поверхности». Нужен «поворот голов и взглядов наших совсем в иную сторону, чем до сих пор... Принципы наши некоторые надо бы совсем изменить, мух из патоки повытащить и освободить». Следует, считал он, хоть на малую долю забыть о сиюминутных потребностях, сколь ни казались бы они насущными, и сосредоточиться на «оздоровлении корней», другими словами, на создании условий для сохранения народных традиций и идеалов, для развития подлинного просвещения, для формирования безусловных лучших людей. Тогда появится надежда на соборное разрешение разногласий различных слоев общества, «всеобщего демократического настроения и всеобщего согласия всех русских людей, начиная с самого верху». Тогда и текущая действительность с ее безотлагательными задачами, финансовыми и экономическими проблемами может измениться не косметически только, а радикально, поскольку сама подчинится новому принципу и «войдет в смысл и дух его, преобразится непременно к лучшему». Тогда и нравственность выйдет из-под разрушительного управления экономики, которая (а вместе с ней науки, ремесла, техника) под ее воздействием станет более разумной и человеческой, поскольку разумными и человеческими станут и потребности людей.

По убеждению Достоевского, в числе новых принципов следует твердо усвоить, что нельзя искусственно подгонять историю и устраивать из нее водевиль (порою жестокий и трагический), что всякие, даже здравые, новшества не осуществляются в один миг, а их успех определяется «предварительной культурой», обогащенностью результатами духовного труда многих предшествующих по колений.

Надо помнить и не забывать, подчеркивал Достоевский, что истинный плодотворный результат любого дела зависит не от верного денежного расчета и не от деятельности мифического «нового человека», которого никто и нигде не видел и «новая нравственность» которого не поддается разумному уяснению, а от золотого запаса благородного человеческого материала, постоянно создаваемого растущими из древних корней и непрерываемыми духовными традициями. «Деньгами вы, например, настрોите школ, но учителей сейчас не наделаете. Учитель – это штука тонкая; народный, национальный учитель вырабатывается веками, держится преданиями, бесчисленным опытом. Но, положим, наделаете деньгами не только учителей, но даже, наконец, и ученых; и что же? – все-таки людей не наделаете. Что в том, что он ученый, коли дела не смыслит? Педагогии он, например, выучится и будет с кафедры сам отлично преподавать педагогию, а все-таки педагогом не сделается. Люди, люди – это самое главное. Люди дороже даже денег. Людей ни на каком рынке не купишь и никакими деньгами, потому что они не продаются и не покупаются, а опять-таки только веками выделяются; ну, а на века надо время, годков эдак двадцать пять или тридцать, даже и у нас, где века давно уже ничего не стоят. Человек идеи и науки самостоятельной, человек самостоятельно деловой образуется лишь долгою самостоятельною жизнью нации, вековым многострадальным трудом ее – одним словом, образуется всею историческою жизнью страны».

Достоевский не сомневался, что нравственные начала являются основой всему, в том числе и благополучию государства, хотя оно на первый взгляд кажется зависимым от выигранных битв или хитроумной политики.

Для достойной и долговечной жизни народам и государствам, полагал писатель, необходимо свято хранить высокие идеалы, ибо «как только после времен и веков (потому что тут тоже свой закон, нам неведомый) начинал расшатываться и ослабевать в данной национальности ее идеал духовный, так тотчас же начинала падать и национальность, а вместе падал и весь ее гражданский устав, и померкали все те гражданские идеалы, которые успевали в ней сложиться... Стало быть, гражданские идеалы всегда прямо и органично связаны с идеалами нравственными, а главное то, что несомненно из них только одних и выходят! Сами же по себе никогда не являются, ибо, являясь, имеют лишь целью утоление нравственного стремления данной национальности, как и поскольку это нравственное стремление в ней сложилось».

Следовательно, политика чести и великодушия, которая подчиняется «нравственному стремлению» и которую не следует разменивать на торопливые

барыши, есть «не только высшая, но, может быть, и самая выгодная политика для великой нации, именно потому, что она великая. Политика текущей практичности и беспрерывного бросания себя туда, где повыгоднее, где понасушнее, изобличает мелочь, внутреннее бессилие государства, горькое положение. Дипломатический ум, ум практической и насущной выгоды всегда оказывался ниже правды и чести, а правда и честь всегда кончали тем, что всегда торжествовали. А если и не кончали тем, то кончат тем, потому что так того, неизменно и вечно, хотели и хотят люди».

По логике Достоевского, принципы «святости текущей выгоды» и «плевка на честь и совесть, лишь бы сорвать шерсти клок» могут временно давать определенные материальные результаты. Но они же порождают захватнические войны, духовно развращают нации и в конце концов губят их. И наоборот. Вера в вечные (а не условно-выгодные) идеалы придает политике духовный смысл, поддерживает нравственное здоровье и величие нации. В таком случае войны, если они вынужденны, носят исключительно освободительный характер и преследуют лишь «великую и справедливую цель, достойную великой нации».

Именно в контексте нравственно состоятельной политики рассматривал Достоевский в «Дневнике» бескорыстную помощь России борьбе балканских славян против турецкого ига. По мнению писателя, подлинная выгода русского государства заключается в том, чтобы всегда поступать честно, идти даже на математически явную невыгоду и жертву, лишь бы не нарушить справедливости.

История показывала Достоевскому, что Россия сильна «идеей, завещанной ей рядом веков», «всецелостью и духовной нераздельностью» народа, способного в годину суровых испытаний проявить величайшую волю ради подвига великодушия. Дойдя «до последней черты, то есть когда уже идти некуда», русский народ преодолевал роковые раздоры и тяжелые страдания благодаря «единению нашего духа народного», без которого и политика, и наука, и техника, и оружие оказались бы беспомощными. Писатель призывал всемерно сохранять это единение не только в кризисные моменты истории, но и в повседневной жизни и не разменивать «великие мысли» на третьестепенные соображения. Ведь только тогда пробуждается и поддерживается в сердцах людей вера в высокое предназначение России, «вера в святость своих идеалов, вера в силу своей любви и жажда служения человечеству, – нет, такая вера есть залог самой высшей жизни наций...».

Залоги такой жизни Достоевский находил и в вершинных достижениях русской литературы, которая «в лучших представителях своих, и прежде всей нашей интеллигенции, заметьте себе это, преклонилась пред народной правдой, признала идеалы народные за действительно прекрасные», что и определило ее историческое значение. Это значение проявилось прежде всего, по его мнению, в творчестве Пушкина, отличавшемся наряду с художественным совершенством «всемирной отзывчивостью», подлинным национальным своеобразием и философско-психологической глубиной. Сходным образом он оценивает, например, и роман Льва Толстого «Анна Каренина»: «Если у нас есть литературные произведения такой силы мысли и исполнения, то почему у нас не может быть впоследствии и своей науки, и своих решений экономических, социальных, почему нам отказывает Европа в самостоятельности, в нашем своем собственном слове, – вот вопрос, который рождается сам собою. Нельзя же предположить смешную мысль, что природа одарила нас лишь одними литературными способностями. Все остальное есть вопрос истории, обстоятельств, условий времени».

Вообще следует подчеркнуть, что в своих публицистических статьях писатель рассматривает вопросы литературы, как и все другие, в нравственной доминанте, неразрывной связи с социальными и насущными проблемами жизни. Искусство представляет для него своеобразный сгусток человеческой деятельности, не только концентрированно отображающий в себе типичные процессы в обществе, но и освещающий их высоким духовным светом. «Искусство, то есть истинное искусство, именно и развивается потому во время долгого мира, что идет вразрез с грузным и порочным усыплением душ, и, напротив, созданиями своими, всегда в эти периоды, взывает к идеалу, рождает протест и негодование, волнует общество и нередко заставляет страдать людей, жаждущих проснуться и выйти из зловонной ямы».

Казалось бы, при такой постановке вопроса на первый план должна выйти литература «с направлением», обличающая пороки и указующая пути их исправления. Однако, по убеждению Достоевского, художнику не стоит «вытягивать из себя с болезненными судорогами тему, удовлетворяющую общему, мундирному, либеральному и социальному мнению», а необходимо дать возможность излиться и развить естественно просящиеся из души образы. Ведь «всякое художественное произведение без предвзятого направления, исполненное единственно из художественной потребности, и даже на сюжет посторонний, совсем и не намекающий на что-нибудь „направительное“... окажется гораздо полезнее для его же целей... в истинно художественном произведении, хотя бы оно толковало о других мирах, не может не быть

истинного направления и верной мысли». Такие отличающиеся естественной правдивостью и столь же непринужденной нравственностью произведения, в которых писатель дает свободу своим чувствам и «своей идее (идеалу)» и тем самым усиливает полноту эстетической реальности, Достоевский называл литературой красоты и противопоставлял ее литературе дела и литературе сплошного отрицания, скованных своей заданностью и предвзятостью и не имеющих «положительного идеала в подкладке». Литература дела полна неясных и путаных исканий, поскольку «дело еще не разъяснено, лишь мечта». Что же касается сугубо обличительной литературы, то она и вовсе лишена всякого созидательного начала, способна возбуждать к ненависти и мести, «нужна тем, кто не знает, за что держаться, как быть и кому верить... Положительный идеал мешает их (авторов нигилистических произведений. – Б. Т.) пороку, а отрицательное ни к чему не обязывает».

Не отражая «прямо» и «направленно» злободневные события и факты действительности, литература красоты тем не менее и создает как раз образы, вбирающие в себя наиболее существенные черты текущей жизни. Татьяна Ларина и Евгений Онегин Пушкина, Пирогов и Хлестаков Гоголя, Потугин Тургенева, Влас Некрасова, Левин Толстого становятся в статьях Достоевского своеобразными символами, помогающими ему проникательнее анализировать духовное состояние общества и тенденции исторического процесса. Он глубоко ценил такие выразительные типы и сожалел, что мельчающая словесность теряет способность их создавать. «Много чего не затронула еще наша художественная литература из современного и текущего, много совсем проглядела и страшно отстала... Даже и в исторический-то роман, может, потому ударились, что смысл текущего потеряла». Достоевский считал, что необходим талант, равный, по крайней мере, гоголевскому, чтобы выявить и обобщить, например, тип анонимного ругателя с его непомерным самомнением при затаенном самонеуважении или тип бездарного и тщеславного невежды, воображающего себя великим деятелем и непревзойденным гением. «Сядет перед вами иной передовой и поучающий господин и начнет говорить: ни концов, ни начал, все сбито и сверчено в клубок. Часа полтора говорит и, главное, ведь так сладко и гладко, точно птица поет. Спрашиваешь себя, что он: умный или иной какой? – и не можешь решить. Каждое слово, казалось бы, понятно и ясно, а в целом ничего не разберешь. Курицу ль впредь яйца учат, или курица будет по-прежнему на яйцах сидеть, – ничего этого не разберешь, видишь только, что красноречивая курица, вместо яиц, дичь несет. Глаза выпучишь под конец, в голове дурман. Это тип новый, недавно зародившийся; художественная литература его еще не затрагивала...»

Художественное обобщение социально-психологических причин появления подобных говорунов, задушивающих сознание больших масс людей и замутняющих ход жизни, тем более важно, что оно одновременно оказывается и одним из путей преодоления их воздействия, уяснения подлинных ценностей. В литературе, как и во всякой другой деятельности, Достоевский стремился выделить главное и значительное для понимания природы человека и творимой им истории. И в своей неповторимой публицистике он также исследует тесную пульсирующую взаимосвязь между законами человеческого духа и законами общественного организма, что позволяло ему предвосхищать объективную, независимую от индивидуального произвола и субъективных представлений различного рода позитивистов, логику развития жизни, предсказывать за многие десятилетия конечные результаты определенных социальных процессов, предупреждать о тупиках грядущей мировой истории. «Ясно, что общество имеет предел своей деятельности, тот забор, о который оно наткнется и остановится. Этот забор – есть нравственное состояние общества, крепко соединенное с социальным устройством его...»

И потому высшим нравственным сознанием, качеством святынь и совестью человека, его способностью искренне побрататься с другими, пожертвовать не только лишним, но и хлебом насущным измерял Достоевский намерения и истинность достижений людей, всякую их деятельность, направленную на преодоление жизненного несовершенства. Но подобное преодоление может быть, по его убеждению, сколь-нибудь успешным лишь тогда, когда все проявления зла, особенно завуалированные одеждами добропорядочности, будут открыто обнажаться в душе человека, а не откладываться за слоем благопристойных форм на глубине ее дна.

Лишь выпукло обозначив ростки зла в ядре внутреннего мира, человек может направить свое внимание и силы на их искоренение, предотвратить их органический рост и распространение, нащупать и разрушить мосты между эгоистическими свойствами «натуры» и ложными идеями, предупредить девальвацию таких высоких понятий, как идеал, свобода, братство.

В представлении Достоевского выбор пути всего человечества неотделим от самоопределения отдельной личности. Ведь линия, разделяющая добро и зло, проходит «не за морем где-нибудь», «не в вещах», «не вне тебя», а через все человеческие сердца, через каждое сердце. И публицистика великого русского писателя приглашает читателя заглянуть поглубже в свою душу и непредубежденно посмотреть на свои дела, чтобы определить, куда направлены

растрачиваемые нами силы, – идут ли они на «самоукорачивание», превращение человека в «скотский образ раба» или на «самоудлинение», восстановление в человеке «образа человеческого».

Выпалывая сорняки из собственной души, обнаруживая «глубоко запрятанную» мощь любви, которая «есть в каждом из нас», любая личность тем самым способствует победе над «прежним животным» и возвращению «воистину новых людей», вытесняет космическое зло из вселенной, участвует в разрешении будущих судеб человечества. И в этом Достоевский не видел ничего фантастического. Надо только хорошо помнить, подчеркивал он, что «силен может быть один человек», что в его мыслях и поступках «бесчисленное множество скрытых от нас разветвлений» и что «все как океан, все течет и соприкасается, в одном месте тронешь, в другом конце мира отдается».

Борис Тарасов

Дневник писателя. 1873

Вступление

Двадцатого декабря я узнал, что уже все решено и что я редактор «Гражданина». Это чрезвычайное событие, то есть чрезвычайное для меня (я никого не хочу обижать), произошло, однако, довольно просто. Двадцатого декабря я как раз читал статью «Московских ведомостей» о бракосочетании китайского императора; она оставила во мне сильное впечатление. Это великолепное и, по-видимому, весьма сложное событие произошло тоже удивительно просто: все оно было предусмотрено и определено еще за тысячу лет, до последней подробности, почти в двухстах томах церемоний. Сравнив громадность китайского события с моим назначением в редакторы, я вдруг почувствовал неблагодарность к отечественным установлениям, несмотря на то что меня так легко утвердили, и подумал, что нам, то есть мне и князю Мещерскому, в Китае было бы несравненно выгоднее, чем здесь, издавать

«Гражданина». Там все так ясно... Мы оба предстали бы в назначенный день в тамошнее главное управление по делам печати. Стукнувшись лбами об пол и полизав пол языком, мы бы встали и подняли наши указательные персты перед собою, почтительно склонив головы. Главноуправляющий по делам печати, конечно, сделал бы вид, что не обращает на нас ни малейшего внимания, как на влетевших мух. Но встал бы третий помощник третьего его секретаря и, держа в руках диплом о моем назначении в редакторы, произнес бы нам внушительным, но ласковым голосом определенное церемониями наставление. Оно было бы так ясно и так понятно, что обоим нам было бы невероятно приятно слушать. На случай, если б я в Китае был так глуп и чист сердцем, что, приступая к редакторству и сознавая слабость моих способностей, ощутил бы в себе страх и угрызение совести, – мне бы тотчас же было доказано, что я вдвое глуп, питая такие чувства. Что именно с этого момента мне вовсе не надо ума, если б даже и был; напротив того, несравненно благонадежнее, если его нет вовсе. И уж, без сомнения, это было бы весьма приятно выслушать. Заключив прекрасными словами: «Иди, редактор, отныне ты можешь есть рис и пить чай с новым спокойствием твоей совести», третий помощник третьего секретаря вручил бы мне красивый диплом, напечатанный на красном атласе золотыми литерами, князь Мещерский дал бы полновесную взятку, и оба мы, возвратясь домой, тотчас же бы издали великолепнейший № «Гражданина», такой, какого здесь никогда не издадим. В Китае мы бы издавали отлично.

Подозреваю, однако, что в Китае князь Мещерский непременно бы со мною схитрил, пригласив меня в редакторы наиболее с тою целью, чтоб я заменял его лицо в главном управлении по делам печати каждый раз, когда бы его приглашали туда получать удары по пятам бамбуковыми дощечками. Но я перехитрил бы его: я бы тотчас перестал печатать «Бисмарка», [1 - я бы тотчас перестал печатать «Бисмарка»... – Речь идет о романе В. П. Мещерского «Один из наших Бисмарков».] сам же, напротив, стал отлично писать статьи, – так что к бамбуку призывали бы меня всего лишь через номер. Зато я бы выучился писать.

В Китае я бы отлично писал; здесь это гораздо труднее. Там все предусмотрено и все рассчитано на тысячу лет; здесь же все вверх дном на тысячу лет. Там я даже поневоле писал бы понятно; так что не знаю, кто бы меня стал и читать. Здесь, чтобы заставить себя читать, даже выгоднее писать непонятно. Только в «Московских ведомостях» передовые статьи пишутся в полтора столбца и – к удивлению – понятно; да и то если принадлежат известному перу. [2 - ...принадлежат известному перу. – Имеется в виду редактор – издатель «Московских ведомостей» М. Н. Катков.] В «Голосе» они пишутся в восемь, в десять, в двенадцать и даже в тринадцать столбцов. Итак, вот сколько надо

здесь истратить столбцов, чтобы заставить уважать себя.

У нас говорить с другими – наука, то есть с первого взгляда, пожалуй, так же, как и в Китае; как и там, есть несколько очень упрощенных и чисто научных приемов. Прежде, например, слова «я ничего не понимаю» означали только глупость произносившего их; теперь же приносят великую честь. Стоит лишь произнести с открытым видом и с гордостью: «Я не понимаю религии, я ничего не понимаю в России, я ровно ничего не понимаю в искусстве»[3 - «Я не понимаю религии, я ничего не понимаю в России, я ровно ничего не понимаю в искусстве»... – Иронический намек на покаянные слова Гоголя в «Выбранных местах из переписки с друзьями».] – и вы тотчас же ставите себя на отменную высоту. И это особенно выгодно, если вы в самом деле ничего не понимаете.

Но этот упрощенный прием ничего не доказывает. В сущности, у нас каждый подозревает другого в глупости безо всякой задумчивости и безо всякого обратного вопроса на себя: «Да уж не я ли это глуп в самом деле?» Положение вседозволенное, и, однако же, никто не доволен им, а все сердятся. Да и задумчивость в наше время почти невозможна: дорого стоит. Правда, покупают готовые идеи. Они продаются везде, даже даром; но даром-то еще дороже обходятся, и это уже начинают предчувствовать. В результате никакой выгоды и по-прежнему беспорядок.

Пожалуй, мы тот же Китай, но только без его порядка. Мы едва лишь начинаем то, что в Китае уже оканчивается. Несомненно придем к тому же концу, но когда? Чтобы принять тысячу томов церемоний, с тем чтобы уже окончательно выиграть право ни о чем не задумываться, – нам надо прожить по крайней мере еще тысячелетие задумчивости. И что же – никто не хочет ускорить срок, потому что никто не хочет задумываться.

Правда и то: если никто не хочет задумываться, то, казалось бы, тем легче русскому литератору. Да, легче действительно; и горе тому литератору и издателю, который в наше время задумывается. Еще горше тому, кто сам захотел бы учиться и понимать; но еще горше тому, который объявит об этом искренно; а если заявит, что уже капельку понял и желает высказать свою мысль, то немедленно всеми оставляется. Ему остается лишь подыскать какого-нибудь одного подходящего человека, или даже нанять его, и только с ним одним и разговаривать; может быть, для него одного и журнал издавать. Положение омерзительное, ибо это все равно, что говорить самому с собой и издавать журнал для собственного удовольствия. Я сильно подозреваю, что

«Гражданину» еще долго придется говорить самому с собой для собственного удовольствия. Взять уж то, что по медицине разговор с собой обозначает предрасположение к помешательству. «Гражданин» должен непременно говорить с гражданами, и вот в том вся беда его!

Итак, вот к какому изданию я приобщил себя. Положение мое в высшей степени неопределенное. Но буду и я говорить сам с собой и для собственного удовольствия, в форме этого дневника, а там что бы ни вышло. Об чем говорить? Обо всем, что поразит меня или заставит задуматься. Если же я найду читателя и, боже сохрани, оппонента, то понимаю, что надо уметь разговаривать и знать, с кем и как говорить. Этому постараюсь выучиться, потому что у нас это всего труднее, то есть в литературе. К тому же и оппоненты бывают различные: не со всяким можно начать разговор. Расскажу одну басню, которую слышал на днях. Говорят, что басня древняя, чуть не индийского происхождения, что весьма утешительно.

Однажды свинья поспорила со львом и вызвала его на дуэль. Воротясь домой, одумалась и струсила. Собралось все стадо, подумали и решили так:

– Видишь, свинья, тут у нас поблизости есть одна яма; поди вываляйся в ней хорошенько и явись так на место. Увидишь.

Свинья так и сделала. Лев пришел, понюхал, поморщился и пошел прочь. Долго еще потом свинья хвалилась, что лев струсил и убежал с поля битвы.

Вот басня. Конечно, львов у нас нет, – не по климату, да и слишком величественно. Но поставьте вместо льва порядочного человека, каким каждый обязан быть, и нравоучение выйдет то же самое.

Кстати, расскажу еще присказку.

Однажды, разговаривая с покойным Герценом, я очень хвалил ему одно его сочинение – «С того берега». Об этой книге, к величайшему моему удовольствию, с похвалой отнесся и Михаил Петрович Погодин в своей превосходной и любопытнейшей статье[4 - ...Погодин в своей превосходной и любопытнейшей статье... – Михаил Петрович Погодин (1800–1875) – историк, профессор Московского университета. Речь идет о статье Погодина «А. И. Герцен» (Заря. 1870. № 2).] о свидании его за границей с Герценом. Эта книга

написана в форме разговора двух лиц, Герцена и его оппонента.

– И мне особенно нравится, – заметил я между прочим, – что ваш оппонент тоже очень умен. Согласитесь, что он вас во многих случаях ставит к стене.

– Да ведь в том-то и вся штука, – засмеялся Герцен. – Я вам расскажу анекдот. Раз, когда я был в Петербурге, затащил меня к себе Белинский и усадил слушать свою статью, которую горячо писал: «Разговор между господином А. и господином Б.». (Вошла в собрание его сочинений.) В этой статье господин А., то есть, разумеется, сам Белинский, выставлен очень умным, а господин Б., его оппонент, поплоче. Когда он кончил, то с лихорадочным ожиданием спросил меня:

– Ну что, как ты думаешь?

– Да хорошо-то, хорошо, и видно, что ты очень умен, но только охота тебе была с таким дураком свое время терять.

Белинский бросился на диван, лицом в подушку, и закричал, смеясь что есть мочи:

– Зарезал! Зарезал!

Старые люди

Этот анекдот о Белинском напомнил мне теперь мое первое вступление на литературное поприще, бог знает сколько лет тому назад; грустное, роковое для меня время. Мне именно припомнился сам Белинский, каким я его тогда встретил и как он меня тогда встретил. Мне часто припоминаются теперь старые люди, конечно потому, что встречаюсь с новыми. Это была самая восторженная личность из всех мне встречавшихся в жизни. Герцен был совсем другое: то был продукт нашего барства, *gentilhomme russe et citoyen du monde*[5 - Русский дворянин и гражданин мира (франц.).] прежде всего, тип, явившийся только в России и который нигде, кроме России, не мог явиться. Герцен не эмигрировал, не полагал начало русской эмиграции; нет, он так уж и родился эмигрантом. Они

все, ему подобные, так прямо и рождались у нас эмигрантами, хотя большинство их не выезжало из России. В полтора десятка лет предыдущей жизни русского барства за весьма малыми исключениями истлели последние корни, расшатались последние связи его с русской почвой и с русской правдой. Герцену как будто сама история предназначила выразить собою в самом ярком типе этот разрыв с народом огромного большинства образованного нашего сословия. В этом смысле это тип исторический. Отделясь от народа, они естественно потеряли и Бога. Беспокойные из них стали атеистами; вялые и спокойные – индифферентными. К русскому народу они питали лишь одно презрение, воображая и веруя в то же время, что любят его и желают ему всего лучшего. Они любили его отрицательно, воображая вместо него какой-то идеальный народ, – каким бы должен быть, по их понятиям, русский народ. Этот идеальный народ невольно воплощался тогда у иных передовых представителей большинства в парижскую чернь девяносто третьего года. Тогда это был самый пленительный идеал народа. Разумеется, Герцен должен был стать социалистом, и именно как русский барич, то есть безо всякой нужды и цели, а из одного только «логического течения идей» и от сердечной пустоты на родине. Он отрекся от основ прежнего общества, отрицал семейство и был, кажется, хорошим отцом и мужем. Отрицал собственность, а в ожидании успел устроить дела свои и с удовольствием ощущал за границей свою обеспеченность. Он заводил революции и подстрекал к ним других и в то же время любил комфорт и семейный покой. Это был художник, мыслитель, блестящий писатель, чрезвычайно начитанный человек, остроумец, удивительный собеседник (говорил он даже лучше, чем писал) и великолепный рефлектёр. Рефлексия, способность сделать из самого глубокого своего чувства объект, поставить его перед собою, поклониться ему и сейчас же, пожалуй, и насмеяться над ним, была в нем развита в высшей степени. Без сомнения, это был человек необыкновенный; но чем бы он ни был – писал ли свои записки, издавал ли журнал с Прудоном, выходил ли в Париже на баррикады (что так комически описал в своих записках); страдал ли, радовался ли, сомневался ли; посылал ли в Россию в шестьдесят третьем году, в угоду полякам, свое воззвание к русским революционерам, в то же время не веря полякам и зная, что они его обманули, зная, что своим воззванием он губит сотни этих несчастных молодых людей; с наивностью ли неслыханною признавался в этом сам в одной из позднейших статей своих, даже и не подозревая, в каком свете сам себя выставляет таким признанием, – всегда, везде и во всю свою жизнь он прежде всего был *gentilhomme russe et citoyen du monde*, попросту продукт прежнего крепостничества, которое он ненавидел и из которого произошел, не по отцу только, а именно через разрыв с родной землей и с ее идеалами. Белинский, напротив, – Белинский был вовсе не *gentilhomme*, – о нет. (Он бог знает от кого

происходил. Отец его был, кажется, военным врачом.)

Белинский был по преимуществу не рефлексивная личность, а именно беззаветно восторженная, всегда, во всю его жизнь. Первая повесть моя «Бедные люди» восхитила его (потом, почти год спустя, мы разошлись – от разнообразных причин, весьма, впрочем, неважных во всех отношениях); но тогда, в первые дни знакомства, привязавшись ко мне всем сердцем, он тотчас же бросился с самою простодушною торопливостью обращать меня в свою веру. Я несколько не преувеличиваю его горячего влечения ко мне, по крайней мере в первые месяцы знакомства. Я застал его страстным социалистом, и он прямо начал со мной с атеизма. В этом много для меня знаменательного, – именно удивительное чутье его и необыкновенная способность глубочайшим образом проникаться идеей. Интернационалка[6 - Интернационалка – Международное товарищество рабочих, I Интернационал.] в одном из своих воззваний, года два тому назад, начала прямо с знаменательного заявления: «Мы прежде всего общество атеистическое», то есть начала с самой сути дела; тем же начал и Белинский. Выше всего ценя разум, науку и реализм, он в то же время понимал глубже всех, что один разум, наука и реализм могут создать лишь муравейник, а не социальную «гармонию», в которой бы можно было ужиться человеку. Он знал, что основа всему – начала нравственные. В новые нравственные основы социализма (который, однако, не указал до сих пор ни единой, кроме гнусных извращений природы и здравого смысла) он верил до безумия и безо всякой рефлексии; тут был один лишь восторг. Но, как социалисту, ему прежде всего следовало низложить христианство; он знал, что революция непременно должна начинать с атеизма. Ему надо было низложить ту религию, из которой вышли нравственные основания отрицаемого им общества. Семейство, собственность, нравственную ответственность личности он отрицал радикально. (Замечу, что он был тоже хорошим мужем и отцом, как и Герцен.) Без сомнения, он понимал, что, отрицая нравственную ответственность личности, он тем самым отрицает и свободу ее; но он верил всем существом своим (гораздо слепее Герцена, который, кажется, под конец усумнился), что социализм не только не разрушает свободу личности, а, напротив, восстанавливает ее в неслыханном величии, но на новых и уже алмазных основаниях.

Тут оставалась, однако, сияющая личность самого Христа, с которою всего труднее было бороться. Учение Христово он, как социалист, необходимо должен был разрушать, называть его ложным и невежественным человеколюбием, осужденным современною наукой и экономическими началами; но все-таки оставался пресветлый лик богочеловека, его нравственная недостижимость, его чудесная и чудотворная красота. Но в непрерывном неугасимом восторге своем

Белинский не остановился даже и перед этим неодолимым препятствием, как остановился Ренан, провозгласивший в своей полной безверия книге «*Vie de Yésus*», [7 - «Жизнь Иисуса» (франц.).] что Христос все-таки есть идеал красоты человеческой, тип недостижимый, которому нельзя уже более повториться даже и в будущем.

– Да знаете ли вы, – взвизгивал он раз вечером (он иногда как-то взвизгивал, если очень горячился), обращаясь ко мне, – знаете ли вы, что нельзя насчитывать грехи человеку и обременять его долгами и подставными ланитами, когда общество так подло устроено, что человеку невозможно не делать злодейств, когда он экономически приведен к злодейству, и что нелепо и жестоко требовать с человека того, чего уже по законам природы не может он выполнить, если б даже хотел...

В этот вечер мы были не одни, присутствовал один из друзей Белинского, [8 - ...один из друзей Белинского... – Вероятно, писатель и критик В. П. Боткин.] которого он весьма уважал и во многом слушался; был тоже один молоденький, начинающий литератор, заслуживший потом известность в литературе. [9 - ...начинающий литератор, заслуживший потом известность в литературе... – И. С. Тургенев.]

– Мне даже умилительно смотреть на него, – прервал вдруг свои яростные восклицания Белинский, обращаясь к своему другу и указывая на меня, – каждый-то раз, когда я вот так помяну Христа, у него все лицо изменяется, точно заплакать хочет... Да поверьте же, наивный вы человек, – набросился он опять на меня, – поверьте же, что ваш Христос, если бы родился в наше время, был бы самым незаметным и обыкновенным человеком; так и стушевался бы при нынешней науке и при нынешних двигателях человечества.

– Ну не-ет! – подхватил друг Белинского. (Я помню, мы сидели, а он расхаживал взад и вперед по комнате.) – Ну нет; если бы теперь появился Христос, он бы примкнул к движению и стал во главе его...

– Ну да, ну да, – вдруг и с удивительною поспешностью согласился Белинский. – Он бы именно примкнул к социалистам и пошел за ними.

Эти двигатели человечества, к которым предназначалось примкнуть Христу, были тогда всё французы: прежде всех Жорж Занд, [10 - Жорж Занд (Санд) –

псевдоним французской писательницы Авроры Дюдеван (1804–1876).] теперь совершенно забытый Кабет,[11 - Кабет – Этьен Кабе (1788–1856) – французский коммунист-утопист.] Пьер Леру[12 - Пьер Леру (1797–1871) – французский философ, один из основателей христианского утопического социализма.] и Прудон,[13 - Прудон Пьер Жозеф (1809–1865) – французский публицист, теоретик анархизма.] тогда еще только начинавший свою деятельность. Этих четырех, сколько припомню, всего более уважал тогда Белинский. Фурье[14 - Фурье Шарль (1772–1837) – французский социалист-утопист.] уже далеко не так уважался. Об них толковалось у него по целым вечерам. Был тоже один немец, перед которым тогда он очень склонялся, – Фейербах.[15 - Фейербах Людвиг (1804–1872) – немецкий философ-материалист.] (Белинский, не могший всю жизнь научиться ни одному иностранному языку, произносил: Фиербах.) О Штраусе[16 - Штраус Давид Фридрих (1803–1874) – немецкий историк-богослов, философ, публицист, автор книги «Жизнь Иисуса» (1835–1836), пользовавшейся в России большой популярностью, несмотря на то что она была запрещена.] говорилось с благоговением.

При такой теплой вере в свою идею это был, разумеется, самый счастливейший из людей. О, напрасно писали потом, что Белинский, если бы прожил дольше, примкнул бы к славянофильству. Никогда бы не кончил он славянофильством. Белинский, может быть, кончил бы эмиграцией, если бы прожил дольше и если бы удалось ему эмигрировать, и скитался бы теперь маленьким и восторженным старичком с прежнею теплою верой, не допускающей ни малейших сомнений, где-нибудь по конгрессам Германии и Швейцарии или примкнул бы адъютантом к какой-нибудь немецкой m-me Гёгг, на побегушках по какому-нибудь женскому вопросу.

Этот всеблаженный человек, обладавший таким удивительным спокойствием совести, иногда, впрочем, очень грустил; но грусть эта была особого рода, – не от сомнений, не от разочарований, о нет, – а вот почему не сегодня, почему не завтра? Это был самый торопившийся человек в целой России. Раз я встретил его часа в три пополудни у Знаменской церкви. Он сказал мне, что выходил гулять и идет домой.

– Я сюда часто захожу взглянуть, как идет постройка (вокзала Николаевской железной дороги, тогда еще строившейся). Хоть тем сердце отведу, что постою и посмотрю на работу: наконец-то и у нас будет хоть одна железная дорога. Вы не поверите, как эта мысль облегчает мне иногда сердце.

Это было горячо и хорошо сказано; Белинский никогда не рисовался. Мы пошли вместе. Он, помню, сказал мне дорожно:

– А вот как заруют в могилу (он знал, что у него чахотка), тогда только спохватятся и узнают, кого потеряли.

В последний год его жизни я уже не ходил к нему. Он меня невзлюбил; но я страстно принял все учение его. Еще год спустя, в Тобольске, когда мы в ожидании дальнейшей участи сидели в остроге на пересыльном дворе, жены декабристов умолили смотрителя острога и устроили в квартире его тайное свидание с нами. Мы увидели этих великих страдальцев, добровольно последовавших за своими мужьями в Сибирь. Они бросили все: знатность, богатство, связи и родных, всем пожертвовали для высочайшего нравственного долга, самого свободного долга, какой только может быть. Ни в чем не повинные, они в долгие двадцать пять лет перенесли все, что перенесли их осужденные мужья. Свидание продолжалось час. Они благословили нас в новый путь, перекрестили и каждого оделили Евангелием – единственная книга, позволенная в остроге. Четыре года пролежала она под моей подушкой в каторге. Я читал ее иногда и читал другим. По ней выучил читать одного каторжного. Кругом меня были именно те люди, которые, по вере Белинского, не могли не сделать своих преступлений, а стало быть, были правы и только несчастнее, чем другие. Я знал, что весь русский народ называет нас тоже «несчастливыми», и слышал это название множество раз и из множества уст. Но тут было что-то другое, совсем не то, о чем говорил Белинский, и что слышится, например, теперь в иных приговорах наших присяжных. В этом слове «несчастливые», в этом приговоре народа звучала другая мысль. Четыре года каторги была длинная школа; я имел время убедиться... Теперь именно об этом хотелось бы поговорить.

Среда

Кажется, одно общее ощущение всех присяжных заседателей в целом мире, а наших в особенности (кроме прочих, разумеется, ощущений), должно быть ощущение власти, или, лучше сказать, самовластия. Ощущение иногда пакостное, то есть в случае, если преобладает над прочими. Но хоть и в незаметном виде, хоть и подавленное целую массой иных благороднейших

ощущений, – все-таки оно должно крепиться в каждой заседательской душе, даже при самом высоком сознании своего гражданского долга. Мне думается, что это как-нибудь выходит из самых законов природы, и потому, я помню, ужасно мне было любопытно в одном смысле, когда только что установился у нас новый (правый) суд. Мне в мечтаниях мерещились заседания, где почти сплошь будут заседать, например, крестьяне, вчерашние крепостные. Прокурор, адвокаты будут к ним обращаться, заискивая и заглядывая, а наши мужички будут сидеть и про себя помалчивать: «Вон оно как теперь, захочу, значит, оправдаю, не захочу – в самое Сибирь».

И вот, однако же, замечательно теперь, что они не карают, а сплошь оправдывают. Конечно, это тоже пользование властью, даже почти через край, но в какую-то одну сторону, сентиментальную, что ли, не разберешь, – но общую, чуть не предвзятую у нас повсеместно, точно все сговорились. Общность «направления» не подвержена сомнению. В том и задача, что мания оправдания во что бы то ни стало не у одних только крестьян, вчерашних униженных и оскорбленных, а захватила сплошь всех русских присяжных, даже самого высокого подбора нобльменов[17 - Нобльмен – человек высшего сословия, от английского nobleman – дворянин, пэр.] и профессоров университета. Уже одна эта общность представляет прелюбопытную тему для размышлений и наводит на многообразные и, пожалуй, странные иногда догадки.

Недавно в одной из наших влиятельнейших газет, в очень скромной и очень благонамеренной статейке, была мельком проведена догадка: уж не склонны ли наши присяжные, как люди, вдруг и ни с того ни с сего ощутившие в себе столько могущества (точно с неба упало), да еще после такой вековой приниженности и забитости, – не склонны ли они подсолить вообще «властям», при всяком удобном случае, так, для игривости или, так сказать, для контраста с прошедшим, прокурору хоть например? Догадка недурная и тоже не лишенная некоторой игривости, но, разумеется, ею нельзя всего объяснить.

«Просто жаль губить чужую судьбу; человеки тоже. Русский народ жалостлив», – разрешают иные, как случалось иногда слышать.

Я, однако же, всегда думал, что в Англии, например, народ тоже жалостлив; и если и нет в нем, так сказать, слабосердости, как в нашем русском народе, то по крайней мере гуманность есть; есть сознание и живо чувство христианского долга к ближнему, и, может быть, доведенные до высокой степени, до твердого и самостоятельного убеждения; даже, может быть, более твердого, чем у нас,

взяв во внимание тамошнюю образованность и вековую самостоятельность. Там ведь не «вдруг с неба» им столько власти свалилось. Да и самый суд-то присяжных они сами себе выдумали, ни у кого не занимали, веками утвердили, из жизни вынесли, не в виде дара получили.

А между тем там присяжный заседатель понимает, чуть только займет свое место в зале суда, что он не только чувствительный человек с нежным сердцем, но прежде всего гражданин. Он думает даже (верно ли, нет ли), что исполнение долга гражданского даже, пожалуй, и выше частного сердечного подвига. Еще недавно общий гул пошел у них по всему королевству, когда присяжные оправдали одного явного вора. Общее движение страны доказало, что если и там возможны такие же приговоры, как и у нас, то появляются редко, как случаи исключительные и немедленно возмущающие общее мнение. Там присяжный понимает прежде всего, что в руках его знамя всей Англии, что он уже перестает быть частным лицом, а обязан изображать собою мнение страны. Способность быть гражданином – это и есть способность возносить себя до целого мнения страны. О, и там есть «жалостливость» приговора, и там принимается во внимание «заедающая среда» (кажется, любимое теперь учение наше) – но до известного предела, насколько допускает здоровое мнение страны и степень просвещения ее христианскою нравственностью (а степень-то, кажется, довольно высокая). Но зато, и весьма часто, тамошний присяжный, скрепя свое сердце, произносит приговор обвинительный, понимая прежде всего, что обязанность его состоит в том преимущественно, чтобы засвидетельствовать своим приговором перед всеми согражданами, что в старой Англии, за которую всякий из них отдаст свою кровь, порок по-прежнему называется пороком и злодейство – злодейством и что нравственные основы страны всё те же, крепки, не изменились, стоят, как и прежде стояли.

– Даже хоть и предположить, – слышится мне голос, – что крепкие-то ваши основы (то есть христианские) всё те же и что вправду надо быть прежде всего гражданином, ну и там держать знамя и проч., как вы наговорили, – хоть и предположить пока без спору, подумайте, откуда у нас взяться гражданам-то? Ведь сообразить только, что было вчера! Ведь гражданские-то права (да еще какие!) на него вдруг как с горы скатились. Ведь они придавили его, ведь они пока для него только бремя, бремя!

– Конечно, есть правда в вашем замечании, – отвечаю я голосу, несколько повеселен, – но ведь опять-таки русский народ...

– Русский народ? Позвольте, – слышится мне другой голос, – вот, говорят, что дары-то с горы скатились и его придавили. Но ведь он не только, может быть, ощущает, что столько власти он получил как дар, но и чувствует, сверх того, что и получил-то их даром, то есть что не стоит он этих даров пока. Заметьте, это вовсе не значит, что и в самом деле он не стоит этих даров и что не надо или рано было одарять его; совсем даже напротив: это сам народ в своей смиренной совести сознает, что он недостоин даров таких, – и это смиренное, но высокое сознание народное о своей недостойности есть именно залог того, что он-то их и достоин. А покамест, в смирении своем, народ смущен. Кто заглядывал в сокровенные тайники его сердца? Может ли у нас хоть кто-нибудь сказать, что вполне знаком с русским народом? Нет, тут не одна только жалостливость и слабосердость, как изволите вы насмеяться. Тут сама эта власть страшна! Испугала нас эта страшная власть над судьбой человеческою, над судьбой родных братьев, и, пока дорастем до вашего гражданства, мы милуем. Из страха милуем. Мы сидим присяжными и, может быть, думаем: «Сами-то мы лучше ли подсудимого? Мы вот богаты, обеспечены, а случись нам быть в таком же положении, как он, так, может, сделаем еще хуже, чем он, – мы и милуем». Так ведь это еще, может быть, хорошо-с, умиление-то это сердечное. Это, может быть, залог к чему-нибудь такому высшему христианскому в будущем, чего еще и не знает мир до сих пор!

«Это отчасти славянофильский голос», – рассуждаю я про себя. Мысль действительно утешительная, а догадка о смирении народном пред властью, полученною даром и дарованною пока «недостойному», уж конечно, почище догадки о желании «поддразнить прокурора», хотя все-таки и эта догадка продолжает мне нравиться своим реализмом (конечно, принимая ее более в виде частного случая, как выставлял, впрочем, и сам автор ее), но... но вот что наиболее смущает меня, однако: что это наш народ вдруг стал бояться так своей жалости? «Больно, дескать, очень приговорить человека». Ну и что ж, и уйдите с болью. Правда выше вашей боли.

В самом деле, ведь если уж мы считаем, что сами иной раз еще хуже преступника, то тем самым признаемся и в том, что наполовину и виноваты в его преступлении. Если он преступил закон, который земля ему написала, то сами мы виноваты в том, что он стоит теперь перед нами. Ведь если бы мы все были лучше, то и он бы был лучше и не стоял бы теперь перед нами...

– Так вот тут-то и оправдать?

Нет, напротив: именно тут-то и надо сказать правду и зло назвать злом; но зато половину тяготы приговора взять на себя. Войдем в залу суда с мыслью, что и мы виноваты. Эта боль сердечная, которой все теперь так боятся и с которой мы выйдем из залы суда, и будет для нас наказанием. Если истинна и сильна эта боль, то она нас очистит и сделает лучшими. Ведь сделавшись сами лучшими, мы и среду исправим и сделаем лучшею. Ведь только этим одним и можно ее исправлять. А так-то бежать от собственной жалости и, чтобы не страдать самому, сплошь оправдывать – ведь это легко. Ведь этак мало-помалу придем к заключению, что и вовсе нет преступлений, а во всем «среда виновата». Дойдем до того, по клубку, что преступление сочтем даже долгом, благородным протестом против «среды». «Так как общество гадко устроено, то в таком обществе нельзя ужиться без протеста и без преступлений». «Так как общество гадко устроено, то нельзя из него выбиться без ножа в руках». Ведь вот что говорит учение о среде в противоположность христианству, которое, вполне признавая давление среды и провозгласивши милосердие к согрешившему, ставит, однако же, нравственным долгом человеку борьбу со средой, ставит предел тому, где среда кончается, а долг начинается.

Делая человека ответственным, христианство тем самым признает и свободу его. Делая же человека зависящим от каждой ошибки в устройстве общественном, учение о среде доводит человека до совершенной безличности, до совершенного освобождения его от всякого нравственного личного долга, от всякой самостоятельности, доводит до мерзейшего рабства, какое только можно вообразить. Ведь этак табаку человеку захочется, а денег нет – так убить другого, чтобы достать табаку. Помилуйте: развитому человеку, ощущающему сильнее неразвитого страдания от неудовлетворения своих потребностей, надо денег для удовлетворения их – так почему ему не убить неразвитого, если нельзя иначе денег достать? Да неужели вы не прислушивались к голосам адвокатов: «Конечно, дескать, нарушен закон, конечно, это преступление, что он убил неразвитого, но, господа присяжные, возьмите во внимание и то...» и т. д. Ведь уже почти раздавались подобные голоса, да и не почти...

– Ну, вы, однако же, – слышится мне чей-то язвительный голос, – вы, кажется, народу новейшую философию среды навязываете, это как же она к нему залетела? Ведь эти двенадцать присяжных иной раз сплошь из мужиков сидят и каждый из них за смертный грех почитает в пост оскоромиться. Вы бы уже прямо обвиняли их в социальных тенденциях.

«Конечно, конечно, где же им до „среды“, то есть сплошь-то всем, – задумываюсь я, – но ведь идеи, однако же, носятся в воздухе, в идее есть нечто пронцающее...»

– Вот на! – хохочет язвительный голос.

– А что, если наш народ особенно наклонен к учению о среде, даже по существу своему, по своим, положим, хоть славянским наклонностям? Что, если именно он-то и есть наилучший материал в Европе для иных пропагаторов?

Язвительный голос хохочет еще громче, но как-то выделанно.

* * *

Нет, тут с народом пока еще только фортель, а не «философия среды». Тут есть одна ошибка, один обман, и в этом обмане много соблазна.

Обман этот можно разъяснить в таком виде, примером по крайней мере.

Положим, народ называет осужденных «несчастными», подает им гроши и калачи. Что же хочет он этим сказать, вот уже, может быть, в продолжение веков? Христианскую ли правду или правду «среды»? Именно тут-то и камень преткновения, именно тут-то и скрывается тот рычаг, за который с успехом мог бы ухватиться пропагатор «среды».

Есть идеи невысказанные, бессознательные и только лишь сильно чувствуемые; таких идей много как бы слитых с душой человека. Есть они и в целом народе, есть и в человечестве, взятом как целое. Пока эти идеи лежат лишь бессознательно в жизни народной и только лишь сильно и верно чувствуются, – до тех пор только и может жить сильнейшею живою жизнью народ. В стремлениях к выяснению себе этих сокрытых идей и состоит вся энергия его жизни. Чем непоколебимее народ содержит их, чем менее способен изменить первоначальному чувству, чем менее склонен подчиняться различным и ложным толкованиям этих идей, тем он могучее, крепче, счастливее. К числу таких сокрытых в русском народе идей – идей русского народа – и принадлежит название преступления несчастием, преступников – несчастными.

Идея эта чисто русская. Ни в одном европейском народе ее не замечалось. На Западе провозглашают ее теперь лишь философы и толковники. Народ же наш провозгласил ее еще задолго до своих философов и толковников. Но из этого не следует, чтобы он не мог быть сбит с толку ложным развитием этой идеи толковником, временно, по крайней мере с краю. Окончательный смысл и последнее слово останутся, без сомнения, всегда за ним, но временно – может быть иначе.

Короче, этим словом «несчастные» народ как бы говорит «несчастливым»: «Вы согрешили и страдаете, но и мы ведь грешны. Будь мы на вашем месте – может, и хуже бы сделали. Будь мы получше сами, может, и вы не сидели бы по острогам. С возмездием за преступления ваши вы приняли тяготу и за всеобщее беззаконие. Помолитесь об нас, и мы об вас молимся. А пока берите, „несчастные“, гроши наши; подаем их, чтобы знали вы, что вас помним и не разорвали с вами братских связей».

Согласитесь, что ничего нет легче, как применить к такому взгляду учение о «среде»: «Общество скверно, потому и мы скверны; но мы богаты, мы обеспечены, нас миновало только случайно то, с чем вы столкнулись. Столкнись мы – сделали бы то же самое, что и вы. Кто виноват? Среда виновата. Итак, есть только подлое устройство среды, а преступлений нет вовсе».

Вот в этом-то софистическом выводе и состоит тот фортель, о котором я говорил.

Нет, народ не отрицает преступления и знает, что преступник виновен. Народ знает только, что и сам он виновен вместе с каждым преступником. Но, обвиняя себя, он тем-то и доказывает, что не верит в «среду»; верит, напротив, что среда зависит вполне от него, от его непрерывного покаяния и самосовершенствования. Энергия, труд и борьба – вот чем перерабатывается среда. Лишь трудом и борьбой достигается самобытность и чувство собственного достоинства. «Достигнем того, будем лучше, и среда будет лучше». Вот что невысказанно ощущает сильным чувством в своей сокрытой идее о несчастье преступника русский народ.

Представьте же теперь, что если сам преступник, слыша от народа, что он «несчастный», сочтет себя только несчастным, а не преступником. Вот тогда-то и отшатнется от такого лжетолкования народ и назовет его изменою народной правде и вере.

Я бы мог представить и примеры тому, но отложим их пока и скажем так.

Преступник и намеревающийся совершить преступление – это два разные лица, но одной категории. Что же, если, приговариваясь к преступлению сознательно, преступник скажет себе: «Нет преступления!» Что, назовет его народ «несчастливым»?

Может, и назовет; без сомнения, назовет; народ жалостлив; да и ничего нет несчастнее такого преступника, который даже перестал себя считать за преступника: это животное, это зверь. Что ж в том, что он не понимает, что он животное и заморил в себе совесть? Он только вдвое несчастнее. Вдвое несчастнее, но и вдвое преступнее. Народ пожалеет и его, но не откажется от правды своей. Никогда народ, называя преступника «несчастливым», не переставал его считать за преступника! И не было бы у нас сильнее беды, как если бы сам народ согласился с преступником и ответил ему: «Нет, не виновен, ибо нет „преступления“!»

Вот наша вера, наша общая вера, хотелось бы мне сказать; вера всех уповающих и ожидающих. Прибавлю еще два слова.

Я был в каторге и видал преступников, «решеных» преступников. Повторяю, это была долгая школа. Ни один из них не переставал себя считать преступником. С виду это был страшный и жестокий народ. «Куражились», впрочем, только из глупеньких, новенькие, и над ними смеялись. Большею частью народ был мрачный, задумчивый. Про преступления свои никто не говорил. Никогда не слышал я никакого ропота. О преступлениях своих даже и нельзя было вслух говорить. Случалось, что раздавалось чье-нибудь слово с вызовом и вывертом, и – «вся каторга», как один человек, осаживала выскочку. Про это не принято было говорить. Но, верно говорю, может, ни один из них не миновал долгого душевного страдания внутри себя, самого очищающего и укрепляющего. Я видал их одиноко задумчивых, я видал их в церкви молящихся перед исповедью; прислушивался к отдельным внезапным словам их, к их восклицаниям; помню их лица, – о, поверьте, никто из них не считал себя правым в душе своей!

Не хотел бы я, чтобы слова мои были приняты за жестокость. Но все-таки я осмелюсь высказать. Прямо скажу: строгим наказанием, острогом и каторгой вы, может быть, половину спасли бы из них. Облегчили бы их, а не отяготили. Самоочищение страданием легче, – легче, говорю вам, чем та участь, которую вы

делаете многим из них сплошным оправданием их на суде. Вы только вселяете в его душу цинизм, оставляете в нем соблазнительный вопрос и насмешку над вами же. Вы не верите? Над вами же, над судом вашим, над судом всей страны! Вы вливаете в их душу безверие в правду народную, в правду Божию; оставляете его смущенного... Он уходит и думает: «Э, да вот как теперь, нету строгости. Поумнели, знать. Боятся, может. Значит, оно можно и в другой раз так же. Понятно, коли я был в такой нужде – как же было не своровать».

И неужто вы думаете, что, отпуская всех сплошь невиновными или «достойными всякого снисхождения», вы тем даете им шанс исправиться? Станет он вам исправляться! Какая ему беда? «Значит, пожалуй, я и не виновен был вовсе» – вот что он скажет в конце концов. Сами же вы натолкнете его на такой вывод. Главное то, что вера в закон и в народную правду расшатывается.

Еще недавно я жил несколько лет сряду за границей. Когда я выехал из России, новый суд только что у нас начинался. С какой жадностью я читал там все, что касалось русских судов, в наших газетах. За границей я тоже с горечью смотрел на наших абсентеистов; [18 - Абсентеисты – так Достоевский называл русских, живущих за границей, от латинского *absentia* – отсутствие.] на детей их, не знающих родного языка или забывающих его. Мне ясно было, что половина их самую силою вещей обратится под конец в эмигрантов. Об этом мне всегда было больно думать: столько сил, столько, может быть, лучших людей, а у нас так нуждаются в людях! Но иногда, выходя из читальной залы, ей-богу, господи, я невольно мирился с абсентеизмом и абсентеистами. Сердце поднималось до боли. Читаешь – там оправдали жену, убившую мужа. Преступление явное, доказанное; она сознается сама: «Нет, не виновна». Там молодой человек разламывает кассу и крадет деньги. «Влюблен, дескать, очень был, надо было денег добыть, любовнице угодить». – «Нет, не виновен». И хоть бы все эти случаи оправдывались состраданием, жалостью: то-то и есть, что не понимал я причин оправдания, путался. Впечатление выносилось смутное и – почти оскорбительное. В эти злые минуты мне представлялась иногда Россия какой-то трясинной, болотом, на котором кто-то затеял построить дворец. Снаружи почва как бы и твердая, гладкая, а между тем это нечто вроде поверхности какого-нибудь горохового киселя, ступите – и так и скользнете вниз, в самую бездну. Я очень упрекал себя за мое малодушие; меня ободряло, что все-таки я издали могу ошибаться, что все-таки я покамест тот же абсентеист, не вижу близко, не слышу ясно...

И вот я давно уже снова на родине.

«Да полно, жалко ли им в самом деле» – ведь вот вопрос! Не смейтесь, что я придаю такую важность ему. «Жалость» по крайней мере хоть что-нибудь и как-нибудь объясняет, хоть из потемок выводит, а без этого последнего объяснения – одно недоумение, точно мрак, в котором живет какой-то сумасшедший.

Мужик забивает жену, увечит ее долгие годы, ругается над нею хуже, чем над собакой. В отчаянии решившись на самоубийство, идет она почти обезумевшая в свой деревенский суд. Там отпускают ее, промямлив ей равнодушно: «Живите согласнее». Да разве это жалость? Это какие-то тупые слова проснувшегося от запоя пьяницы, который едва различает, что вы стоите пред ним, глупо и беспредметно машет на вас рукой, чтобы вы не мешали, у которого еще не ворочается язык, чад и безумие в голове.

История этой женщины, впрочем, известна, слишком недавняя. Ее читали во всех газетах и, может быть, еще помнят. Просто-запросто жена от побоев мужа повесилась; мужа судили и нашли достойным снисхождения. Но мне долго еще мерещилась вся обстановка, мерещится и теперь.

Я все воображал себе его фигуру: сказано, что он высокого роста, очень плотного сложения, силен, белокур. Я прибавил бы еще – с жидкими волосами. Тело белое, пухлое, движения медленные, важные, взгляд сосредоточенный; говорит мало и редко, слова роняет как многоценный бисер и сам ценит их прежде всех. Свидетели показали, что характера был жестокого: поймает курицу и повесит ее за ноги, вниз головой, так, для удовольствия: это его развлекало: превосходная характернейшая черта! Он бил жену чем попало несколько лет сряду – веревками, палками. Вынет половицу, просунет в отверстие ее ноги, а половицу притиснет и бьет, и бьет. Я думаю, он и сам не знал, за что ее бьет, так, по тем же, вероятно, мотивам, по которым и курицу вешал. Морил тоже голодом, по три дня не давал ей хлеба. Положит на полку хлеб, ее подзовет и скажет: «Не смей трогать хлеба, это мой хлеб», – чрезвычайно характерная тоже черта! Она побиралась с десятилетним ребенком у соседей: дадут хлебца – поедят, не дадут – сидят голодом. Работу с нее спрашивал; все она исполняла неуклонно, бессловесно, запуганно и стала наконец как помешанная. Я воображаю и ее наружность: должно быть, очень маленькая, исхудавшая, как щепка, женщина. Иногда это бывает, что очень большие и плотные мужчины, с белым, пухлым телом, женятся на очень маленьких, худеньких женщинах (даже наклонны к таким выборам, я заметил), и так странно смотреть на них, когда они стоят или идут вместе. Мне кажется, что если бы она забеременела от него в самое последнее время, то это была бы еще

характернейшая и необходимейшая черта, чтобы восполнить обстановку; а то чего-то как будто недостает. Видали ли вы, как мужик сечет жену? Я видал. Он начинает веревкой или ремнем. Мужичья жизнь лишена эстетических наслаждений – музыки, театров, журналов; естественно, надо чем-нибудь восполнить ее. Связав жену или забив ее ноги в отверстие половицы, наш мужичок начинал, должно быть, методически, хладнокровно, сонливо даже, мерными ударами, не слушая криков и молений, то есть именно слушая их, слушая с наслаждением, а то какое было бы удовольствие ему бить? Знаете, господа, люди рождаются в разной обстановке: неужели вы не поверите, что эта женщина в другой обстановке могла бы быть какой-нибудь Юлией или Беатриче из Шекспира, Гретхен из «Фауста»? [19 - ...Юлией или Беатриче из Шекспира, Гретхен из «Фауста»... – героини трагедии «Ромео и Джульетта» (1595), комедии «Много шума из ничего» (1598) Уильяма Шекспира, трагедии «Фауст» (1808–1832) Иоганна Вольфганга Гете.] Я ведь не говорю, что была, – и было бы это очень смешно утверждать, – но ведь могло быть в зародыше и у ней нечто очень благородное в душе, пожалуй, не хуже, чем и в благородном сословии: любящее, даже возвышенное сердце, характер, исполненный оригинальнейшей красоты. Уже одно то, что она столько медлила наложить на себя руки, показывает ее в таком тихом, кротком, терпеливом, любящем свете. И вот эту-то Беатриче или Гретхен секут, секут как кошку! Удары сыплются все чаще, резче, бесчисленнее; он начинает разгорячаться, входит во вкус. Вот уже он озверел совсем и сам с удовольствием это знает. Животные крики страдальцы хмелят его как вино: «Ноги твои буду мыть, воду эту пить», – кричит Беатриче нечеловеческим голосом, наконец затихает, перестает кричать и только дико как-то кряхтит, дыхание поминутно обрывается, а удары тут-то и чаще, тут-то и садче... Он вдруг бросает ремень, как ошалелый схватывает палку, сучок, что попало, ломает их с трех последних ужасных ударов на ее спине, – баста! Отходит, садится за стол, воздыхает и принимается за квас. Маленькая девочка, дочь их (была же и у них дочь!), на печке в углу дрожит, прячется: она слышала, как кричала мать. Он уходит. К рассвету мать очнется, встанет, охая и вскрикивая при каждом движении, идет доить корову, тащится за водой, на работу.

А он ей, уходя, своим методическим, медленным и важным голосом: «Не смей есть этот хлеб, это мой хлеб».

Под конец ему нравилось тоже вешать ее за ноги, как вешал курицу. Повесит, должно быть, а сам отойдет, сядет, примется за кашу, поест, потом вдруг опять возьмет ремень и начнет, и начнет всячую... А девочка все дрожит, скорчившись на печи, дико заглянет украдкой на повешенную за ноги мать и

опять спрячется.

Она удавилась в мае поутру, должно быть, в ясный весенний день. Ее видели накануне избитую, совсем обезумевшую. Ходила она тоже перед смертью в волостной суд, и вот там-то и проямлили ей: «Живите согласнее».

Когда она повесилась и захрипела, девочка закричала ей из угла: «Мама, на что ты давишься?» Потом робко подошла, окликнула висевшую, дико осмотрела ее и несколько раз в утро подходила из угла на нее смотреть, до самых тех пор, пока воротился отец.

И вот он перед судом – важный, пухлый, сосредоточенный; запирается во всем: «Душа в душу жили», – роняет он ценным бисером редкие слова. Присяжные выходят и по «кратком совещании» выносят приговор: «Виновен, но достоин снисхождения».

Заметьте, что девочка свидетельствовала против отца. Она рассказала все и исторгла, говорят, слезы присутствующих. Если бы не «снисхождение» присяжных, то его сослали бы на поселение в Сибирь. Но с «снисхождением» ему только восемь месяцев пробыть в остроге, а там воротится домой и потребует к себе свидетельствовавшую против него за мать девочку. Будет кого опять за ноги вешать.

«Достоин снисхождения!» И ведь этот приговор дан зазnamо. Знали ведь, что ожидает ребенка. К кому, к чему снисхождение? Чувствуешь себя как в каком-то вихре; захватило вас и вертит, и вертит.

Постойте, расскажу еще анекдот.

Когда-то, еще до новых судов (впрочем, незадолго до них), прочитал я в наших газетах вот какой один фактик: мать таскала на руках ребенка годового или четырнадцати месяцев. В этот возраст идут зубки; дети нездоровы, плачут и очень мучаются. Надоел ребенок матери, может, и дела у ней было много, а тут таскай его на руках и слушай его раздирающий плач. Озлилась она. А впрочем, неужто бить за это такого маленького ребеночка? Ведь так жалко прибить его, и что он смыслит? Ведь он так беспомощен, зависит от последней пылинки... Ведь и не уймешь, коли прибьешь: он зальется своими слезками и вас же обхватит ручками, а то вас же начнет целовать, и плачет, и плачет. Но она не прибила его,

а там в комнате кипел самовар. Она поднесла ручку ребенка под самый кран и отвернула кран. Она выдержала ручку секунд десять.

Это факт, я читал. Но вот представьте, что это случилось теперь и эту женщину вызвали в суд. Присяжные удаляются и «по кратком совещании» выносят приговор: «Достойна всякого снисхождения».

Ну, представьте это себе; я по крайней мере матерей приглашаю представить. То-то, должно быть, вертелся бы тут адвокат:

– Господа присяжные, конечно, случай этот нельзя назвать вполне гуманным, но возьмите дело в его целостности, представьте среду, обстановку. Эта женщина бедна, одна в доме работница, терпит неприятности. Ей не на что было даже няньку нанять. Естественно, что под такую минуту, когда злоба от заевшей среды входит, так сказать, внутрь, господа, естественно, что она и поднесла ручку под кран самовара... ну и... и...

О, конечно, я понимаю всю полезность и всю высоту адвокатского звания, всеми уважаемого. Но нельзя же не взглянуть иногда с одной точки, – согласен, легкомысленной, но и невольной: ведь какова же иногда их должность каторжная, подумаешь про себя, вертится, изворачивается как уж, лжет против своей совести, против собственного убеждения, против всякой нравственности, против всего человеческого! Нет, подлинно недаром деньги берут.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

я бы тотчас перестал печатать «Бисмарка»... – Речь идет о романе В. П. Мещерского «Один из наших Бисмарков».

2

...принадлежат известному перу. – Имеется в виду редактор – издатель «Московских ведомостей» М. Н. Катков.

3

«Я не понимаю религии, я ничего не понимаю в России, я ровно ничего не понимаю в искусстве»... – Иронический намек на покаянные слова Гоголя в «Выбранных местах из переписки с друзьями».

4

...Погодин в своей превосходной и любопытнейшей статье... – Михаил Петрович Погодин (1800–1875) – историк, профессор Московского университета. Речь идет о статье Погодина «А. И. Герцен» (Заря. 1870. № 2).

5

Русский дворянин и гражданин мира (франц.).

6

Интернационалка – Международное товарищество рабочих, I Интернационал.

7

«Жизнь Иисуса» (франц.).

8

...один из друзей Белинского... – Вероятно, писатель и критик В. П. Боткин.

9

...начинающий литератор, заслуживший потом известность в литературе... – И. С. Тургенев.

10

Жорж Занд (Санд) – псевдоним французской писательницы Авроры Дюдеван (1804–1876).

11

Кабет – Этьен Кабе (1788–1856) – французский коммунист-утопист.

12

Пьер Леру (1797–1871) – французский философ, один из основателей христианского утопического социализма.

13

Прудон Пьер Жозеф (1809–1865) – французский публицист, теоретик анархизма.

14

Фурье Шарль (1772–1837) – французский социалист-утопист.

15

Фейербах Людвиг (1804–1872) – немецкий философ-материалист.

16

Штраус Давид Фридрих (1803–1874) – немецкий историк-богослов, философ, публицист, автор книги «Жизнь Иисуса» (1835–1836), пользовавшейся в России большой популярностью, несмотря на то что она была запрещена.

17

Нобльмен – человек высшего сословия, от английского nobleman – дворянин, пэр.

18

Абсентеисты – так Достоевский называл русских, живущих за границей, от латинского absentia – отсутствие.

19

...Юлией или Беатриче из Шекспира, Гретхен из «Фауста»... – героини трагедии «Ромео и Джульетта» (1595), комедии «Много шума из ничего» (1598) Уильяма Шекспира, трагедии «Фауст» (1808–1832) Иоганна Вольфганга Гете.

Купить: <https://tellnovel.com/ru/fedor-dostoevskiy/dnevnik-pisatelya>

Текст предоставлен ООО «ИТ»

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: [Купить](#)